

АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН

**БОДАЛСЯ ТЕЛЕНОК
С ДУБОМ**

Собрание сочинений в 30 томах

Александр Солженицын

**Бодался телёнок с дубом.
Очерки литературной жизни**

Солженицын А. И.

Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни /
А. И. Солженицын — «WebKniga», — (Собрание сочинений в 30
томах)

В 28 томе Собрания сочинений печатается мемуарная проза А. И. Солженицына «Бодался телёнок с дубом». Предваряя книгу, автор усмешливо отнес ее к литературе вторичной, возможно, не столь уж нужной читателю. Этой же книгой он с завораживающей достоверностью показал, что литература неотделима от жизни, а свершения художника – от его способности распознать и принять свое назначение. Здесь естественно соединились документированная хроника трудов и вынужденной борьбы писателя, фантазмагорические зарисовки той мертвенно пошлой сферы, что звалась тогда «литературной жизнью», полнящиеся любовью портреты людей, деятельно верных свободе и культуре (помогавших Солженицыну «невидимок», но не только их), трагическое повествование о судьбе несхожего с автором старшего собрата – великого поэта А. Т. Твардовского. Эта проза полна напряженной исповедальной авторerefлексией, размышлениями о возможности духовного выпрямления личности, о прошлом, настоящем и будущем России. Читатель встретит много горьких и страшных страниц, но не меньше страниц искрометно веселых, развеивающих морок, уверенно сулящих победу правды и добра над убогим, бездарным и лживым злом. Писавшаяся в годы «бодания с дубом», отомстившего писателю изгнанием из отечества, книга живет духом свободы, радости и благодарности Творцу.

© Солженицын А. И.

© WebKniga

Содержание

Информация от издательства	6
Оговорка	7
* * *	7
Писатель-подпольщик	8
Обнаруживаясь	17
На поверхности	34
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Александр Солженицын

Бодался телёнок с дубом

Информация от издательства

В издании сохранены орфография и пунктуация автора.

Его взгляды изложены в работе «Некоторые грамматические соображения» (*Солженицын А.* Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1997. Т. 3).

В настоящем Собрании сочинений статья будет напечатана в т. 24.

Редактор-составитель Наталия Солженицына

© А. И. Солженицын, наследники, 1975, 1996, 2018

© Н. Д. Солженицына, составление, краткие пояснения, 2018

© «Время», 2018

* * *

Оговорка

* * *

Есть такая, немалая, *вторичная* литература: литература о литературе; литература вокруг литературы; литература, рождённая литературой (если б не было подобной перед тем, так и эта б не родилась). Сам я, по профессии, такую почитать люблю, но ставлю значительно ниже литературы первичной. А написанного всего так много, а читать людям всё меньше досуга, что кажется: мемуары писать, да ещё литературные, – не совестно ли?

И уж никак не предполагал, что и сам, на 49-м году жизни, осмелюсь наскребать вот это что-то мемуарное. Но два обстоятельства сошлись и направили меня.

Одно – наша жестокая и трусливая потаённость, от которой все беды нашей страны. Мы не то чтоб открыто говорить и писать и друзьям рассказывать, что думаем и как истинно было дело, – мы и бумаге доверять боимся, ибо по-прежнему секира висит над каждой нашей шеей, гляди опустится. Сколько эта потаённость ещё продлится – не предсказать, может многих нас раньше того рассекут, и пропадёт с нами невысказанное.

Обстоятельство второе – что на шею мне петля уже два года как наложена, но не стянута, а наступающею весной я хочу головой легонько рвануть. Петля ли порвётся, шею ли сдушит, – предвидеть точно нельзя.

А тут как раз между двумя глыбами¹, – одну откатил, перед второй робею, – выдался у меня маленький передых.

И я подумал, что, может быть, время пришло кое-что на всякий случай объяснить.

Апрель 1967

¹ Между «Архипелагом» и «Красным Колесом». – *Примеч. 1986.*

Писатель-подпольщик

То не диво, когда подпольщиками бывают революционеры. Диво – когда писатели.

У писателей, озабоченных правдой, жизнь и никогда проста не бывала, не бывает (и не будет!): одного донимали клеветой, другого дуэлью, того – разломом семейной жизни, того – разорением или испоконной невылазной нищетою, кого сумасшедшим домом, кого тюрьмой. А при полном благополучии, как у Льва Толстого, своя же совесть ещё горше расцарапает грудь изнутри.

Но всё-таки: не о том печься – мир бы тебя узнал, а наоборот, нырять в подполье, чтобы не дай Бог не узнал, – этот писательский удел родной наш, русский, русско-советский! Теперь установлено, что Радищев в последнюю часть жизни что-то важное писал и глубоко, и предусмотрительно таил: так глубоко, что мы и нынче не найдём и не узнаем. И Пушкин с остроумием зашифровывал 10-ю главу «Онегина», это знают все. Меньше знают, как долго занимался тайнописью Чаадаев: рукопись свою отдельными листиками он раскладывал в разных книгах своей большой библиотеки. Для лубянского обыска это, конечно, не упрятка: ведь как бы много ни было книг, всегда же можно и оперативников пригнать порядочно – так, чтобы каждую книгу взять за концы корешка и потрепать с терпением (не прячьте в книгах, друзья!). Но царские жандармы прохлопали: умер Чаадаев, а библиотека сохранилась до революций, и несоединённые, не известные никому листы томилась в ней. В 20-е годы они были обнаружены, разысканы, изучены, а в 30-е наконец и подготовлены к печати Д. И. Шаховским, – но тут Шаховского *посадили* (без возврата), а чаадаевские рукописи и по сегодня тайно хранятся в Пушкинском Доме: не разрешают их печатать из-за... их *реакционности*! Так Чаадаев установил рекорд – уже 110 лет после смерти – замалчивания русского писателя. Вот уж написал так написал!

А потом времена пошли куда вольнее: русские писатели не писали больше *в стол*, а всё печатали, что хотели (и только критики и публицисты подбирали эзоповские выражения, да вскоре уже лепили и без них). И до такой степени они свободно писали и свободно раскачивали всю государственную постройку, что от русской-то литературы и выросли все те молодые, кто взненавидели царя и жандармов, пошли в революцию и сделали её.

Но, шагнув через порог ею же порождённых революций, литература быстро осеклась: она попала не в сверкающий поднебесный мир, а под потолок-укосину, и меж сближенных стен, всё более тесных. Очень быстро узнали советские писатели, что не всякая книга может *пройти*. А ещё лет через десяток узнали они, что гонораром за книгу может стать решётка и проволока. И опять писатели стали скрывать написанное, хоть и не dokonечно отчаиваясь увидеть при жизни свои книги в печати.

До ареста я тут многого не понимал. Неосмысленно тянул я в литературу, плохо зная, зачем это мне и зачем литературе. Изнывал лишь оттого, что трудно, мол, свежие темы находить для рассказов. Страшно подумать, что б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не посадили.

С ареста же, года за два тюремно-лагерной жизни, изнывая уже под горами тем, принял я как дыхание, понял как всё неоспоримое, что видят глаза: не только меня никто печатать не будет, но строчка единая мне обойдётся ценою в голову. Без сомнения, без раздвоения вступил я в удел: писать только для того, чтоб об этом обо всём не забылось, когда-нибудь известно стало потомкам. При жизни же моей даже представления такого, мечты такой не должно быть в груди – напечататься.

И – изжил я досужную мечту. И взамен была только уверенность, что не пропадёт моя работа, что на какие головы нацелена – те поразит, и кому невидимым струением посылается – те воспримут. С пожизненным молчанием я смирился как с пожизненной невозможностью

освободить ноги от земной тяжести. И вещь за вещью кончая то в лагере, то в ссылке, то уже и реабилитированным, сперва стихи, потом пьесы, потом и прозу, я одно только лелеял: как сохранить их в тайне и с ними самого себя.

Для *этого* в лагере пришлось мне стихи заучивать наизусть – многие тысячи строк. Для того я придумывал чётки с метрической системой, а на пересылках наламыывал спичек обломками и передвигал. Под конец лагерного срока, поверивши в силу памяти, я стал писать и заучивать диалоги в прозе, маненько – и сплошную прозу. Память вбирала! Шло. Но больше и больше уходило времени на ежемесячное повторение всего объёма заученного, – уже неделя в месяц.

Тут началась ссылка, и тотчас же в начале ссылки – проступили метастазы рака. Осенью 1953 очень было похоже, что я доживаю последние месяцы. В декабре подтвердили врачи, ссыльные ребята, что жить мне осталось не больше трёх недель.

Грозило погаснуть с моей головой и всё моё лагерное заучивание.

Это был страшный момент моей жизни: смерть на пороге освобождения и гибель всего написанного, всего смысла прожитого до тех пор. По особенностям советской почтовой цензуры никому вовне я не мог крикнуть, позвать: приезжайте, возьмите, спасите моё написанное! Да чужого человека и не позовёшь. Друзья – сами по лагерям. Мама – умерла. Жена – не дождалась, вышла за другого.

Эти последние обещанные врачами недели мне не избежать было работать в школе, но вечерами и ночами, бессонными от болей, я торопился мелко-мелко записывать, и скручивал листы по несколько в трубочки, а трубочки наталкивал в бутылку из-под шампанского, у неё горлышко широкое. Бутылку я закопал на своём огороде – и под Новый, 1954 год поехал умирать в Ташкент.

Однако я не умер. (При моей безнадежно запущенной остро-злокачественной опухоли это было Божье чудо, я никак иначе не понимал. Вся возвращённая мне жизнь с тех пор – не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель.) Тою весной в Кок-Тереке, оживающий, пьяный от возврата жизни (может быть, на 2–3 года только?), в угаре радости я написал «Республику труда». Эту я уже не пробовал и заучивать, это первая была вещь, над которой я узнал счастье: не сжигать отрывок за отрывком, едва знаешь наизусть; иметь неуничтоженным начало, пока не напишешь конец, и обозреть всю пьесу сразу; и переписать из редакции в редакцию; и править; и ещё переписать. Путь к этому открыл мне Николай Иванович Зубов (см. [Пятое Дополнение, очерк 1](#)): как хранить редакции рабочие и окончательную. Затем я и сам стал осваивать новое ремесло, сам учился делать *заначки*, далёкие и близкие, где все бумаги мои, готовые и в работе, становились бы недоступны ни случайному вору, ни поверхностному ссыльному обыску. Мало было тридцати учебных часов в школе, классного руководства, одинокого кухонного хозяйства (из-за тайны своего писания я и жениться не мог); мало было самого подпольного писания, ещё надо было теперь учиться ремеслу – прятать написанное.

А за одним ремеслом потянулось другое: самому делать с рукописей микрофильмы (без единой электрической лампы и под солнцем, почти не уходящим в облака, – ловить короткую облачность). А микрофильмы потом – вделать в книжные обложки, двумя готовыми конвертами: Соединённые Штаты Америки, ферма Александры Львовны Толстой. Я никого более на Западе не знал, но уверен был, что дочь Толстого не уклонится помочь мне.

Мальчишкой читаешь про фронт или про подпольщиков и удивляешься: откуда такая смелость отчаянная берётся у людей? Кажется, сам бы никогда не выдержал. Так я думал в 30-е годы над Ремарком («Im Westen nichts neues»), а на фронт попал и убедился, что всё проще гораздо, и вживаешься постепенно, а в описаниях – куда страшнее, чем оно есть.

И в подполье если с бухты-барахты вступать, при красном фонаре и чёрных масках, да клятву какую-нибудь произносить или кровью расписываться, так наверно очень страшно.

А человеку, который давным-давно выброшен из семейного уклада, не имеет основы (уже и охоты) для постройки внешней жизни, – тому зацепка за зацепкою, похоронки за похоронками, с кем-то знакомство, через него другое, там – условная фраза в письме или при явке, там – кличка, там – цепочка из нескольких человек, – просыпаешься однажды утром: батюшки, да ведь я давно подпольщик!

Горько, конечно, что не для революции надо спускаться в то подполье, а для простой художественной литературы.

Шли годы, я уже освободился из ссылки, переехал в Среднюю Россию, вернулась ко мне жена, я был реабилитирован и допущен в умеренно-благополучную, ничтожно-покорную жизнь – но к подпольно-литературной изнанке её я так же привык, как к лицевой школьной стороне. Всякий вопрос: на какой редакции закончить работу, к какому сроку хорошо бы поспеть, сколько экземпляров отпечатать, какой размер страницы взять, как стеснить строки, на какой машинке, и куда потом экземпляры – все эти вопросы решались не дыханием непринуждённым писателя, которому только бы достроить произведение, наглядеться и отойти, – а ещё и вечно напряжёнными расчётами подпольщика: как и где это будет храниться, в чём будет перевозиться, и какие новые захоронки надо придумывать из-за того, что всё растёт и растёт объём написанного и перепечатанного.

Важней всего и был *объём* вещи, – не творческий объём в авторских листах, а объём в кубических сантиметрах. Тут выручали меня ещё не испорченные глаза и от природы мелкий, как луковые семена, почерк; бумага тонкая, если удавалось привезти её из Москвы; полное уничтожение (всегда и только – сожжение) всех набросков, планов и промежуточных редакций; теснейшая, строчка к строчке (не в один интервал, два щелчка, но после каждой строчки я выключал сцепление и ещё сближал их от руки), без всяких полей и двусторонняя перепечатка; а по окончании перепечатки – сожжение и главного беловика рукописи тоже: один огонь я признавал надёжным ещё с первых литературных шагов в лагере. По этой программе пошёл и роман «В круге первом», и рассказ «Щ-854», и сценарий «Знают истину танки», не говоря о более ранних вещах. (До слёз было жалко уничтожать подлинник сценария, он особенным образом был написан. Но в один тревожный вечер пришлось его сжечь. Сильно облегчалось дело тем, что в рязанской квартире было печное отопление. При центральном сожжении гораздо хлопотливей.)

Усвоением уроков Зубова я очень гордился. В Рязани я придумал хранение в проигрывателе: внутри нашёл полость, а сам он так тяжёл, что на вес не обнаружишь добавки. И халтурную советскую недоделку верха шкафа использовал для двойной фанерной крыши.

Все эти предосторожности были, конечно, с запасом, но бережёного Бог бережёт. Статистически почти невероятно было, чтобы безо всякого внешнего повода ко мне на квартиру нагрнуло бы ЧКГБ, хоть я и бывший зэк: ведь миллионы их, бывших зэков! (А если бы нагрнули, то – смерть, ничто меньшее не ждало меня при тогдашней безвестности и беззащитности, – как сможет убедиться читатель, прочтя когда-нибудь ну хотя бы исходный полный текст «Круга», 96 глав.) Однако это всё – пока соблюдается пословица: «Никто в лесу не знал бы дятла, если бы не свой носок».

Безопасность приходилось усилить всем образом жизни: в Рязани, куда я недавно переехал, не иметь вовсе никаких знакомых, приятелей, не принимать дома гостей и не ходить в гости – потому что нельзя же никому объяснить, что ни в месяц, ни в год, ни на праздники, ни в отпуск у человека не бывает свободного часа; нельзя дать вырваться из квартиры ни атому скрытому, нельзя впустить на миг ничего внимательного взгляда, – жена строго выдерживала такой режим, и я это очень ценил. На работе среди сослуживцев никогда не проявлять широты интересов, но всегда выказывать свою чуждость литературе. (Литературная «враждебная» деятельность ставилась мне в вину ещё по следственному делу – и по этому особому вопросу, остыл я или не остыл, могли за мной агенты наблюдать.) Наконец, на каждом жизненном шагу

сталкиваясь с чванством, грубостью, дуростью и корыстью начальства всех ступеней и всех учреждений и иногда имея возможность меткой жалобой, решительным возражением что-то очистить или чего-то добиться – никогда себе этого не разрешать, не выделяться ни на плечо в сторону бунта, борьбы, быть образцовым советским гражданином, то есть всегда послушным любому помыканию, всегда довольным любой глупостью.

Понурая свинка глубок корень роет.

Это было очень нелегко! Как будто не кончилась ссылка, не кончился лагерь, как будто всё те же *номера* на мне, нисколько не поднята голова, нисколько не разогнута спина и каждый погон надо мною начальник. Всё негодование могло укипеть только в очередную книгу, а этого тоже нельзя, потому что закон поэзии – быть выше своего гнева и воспринимать сущее с точки зрения вечности.

Но все эти дани я платил спокойно: мне работалось всё равно хорошо, плотно, даже при скудости свободного времени, даже без подлинной тишины. Мне дико было слушать, как объясняли по радио обезпеченные, досужие, именитые писатели: какие бывают способы сосредоточиться в начале рабочего дня, и как важно устранить все помехи, и как важно окружиться настраивающими предметами. А я ещё в лагере научился складывать стихи на ходу в конвоируемой колонне, в степи морозной, в литейном цеху и в гудящем бараке. Как солдат засыпает, едва присев на землю, как собаке в мороз вместо печи служит своекожная шерсть, так и я был естественно приспособлен писать всюду. И хотя теперь на воле (закон сжатия и разжатия человеческой души!) я стал попривередливее, мешало мне и радио, и разговоры, – но даже под постоянный рёв грузовиков, наезжающих на наше рязанское окно, я одолел неведомую мне манеру киносценария. Лишь бы выдался свободный часик-два подряд! Обминул меня Бог творческими кризисами, приступами отчаяния и бесплодия.

Очень устойчивое, и даже радостное, и даже торжествующее настроение было у меня все эти годы подпольного писания – пять лет лагеря до моей болезни и семь лет ссылки и воли, «второй жизни» после удивительного выздоровления. Существовавшая и трубившая литература, её десяток толстых журналов, две литературные газеты, её безчисленные сборники, и отдельные романы, и собрания сочинений, и ежегодные премии, и натужные радиоинсценировки – раз и навсегда были признаны мною ненастоящими, и я не терял времени и не раздражался за ними следить: я заранее знал, что в них не может быть ничего достойного. Не потому, чтобы там не могло зародиться талантов, – наверное, они были там, но там же и гибли. Ибо *не то* у них было поле, по которому они сеяли: знал я, что по полю тому ничего вырасти не может. Едва только вступая в литературу, все они – и социальные романисты, и патетические драматурги, и поэты общественные, и уж тем более публицисты и критики, – все они соглашались о всяком предмете и деле не говорить *главной правды*, той, которая людям в очи лезет и без литературы. Эта клятва воздержания от правды называлась *соцреализмом*. И даже поэты любовные, и даже лирики, для безопасности ушедшие в природу или в изящную романтику, все они были обречённо-ущербны за свою несмелость коснуться главной правды.

И ещё с тем убеждением прожил я годы подпольного писательства, что я не один такой сдержанный и хитрый. Что десятков несколько нас таких – замкнутых, упорных одиночек, рассыпанных по Руси, и каждый пишет по чести и совести то, что знает о нашем времени и что есть главная правда, – составляют её не только тюрьмы, расстрелы, лагеря и ссылки, хотя совсем их обойдя, тоже главной правды не выпишешь. Несколько десятков нас таких, и всем дышать нелегко, но до времени никак нельзя нам открыться даже друг другу. А вот придёт пора – и все мы разом выступим из глубины моря, как Тридцать Три богатыря, – и так восстановится великая наша литература, которую мы спихнули на морское дно.

И третье было убеждение: что это лишь посмертный символ будет, как мы, шлемоблещущая рать, подыматься будем из моря. Что это будут лишь наши книги, сохранённые верно-стью и хитростью друзей, а не сами мы, не наши тела: сами мы прежде того умрём. Я всё ещё

не верил, что сотрясение общества сможет вызвать и начать литература (хотя не русская ли история это нам уже показала?!). Я думал, что вздрогнет и даже обновится общество от других причин, так появится щель, пролом свободы, и туда-то сразу двинется наша подпольная литература – объяснить потерянными и смятенными умами: почему всё это непременно должно было так случиться и как это с 1917 года вьётся и вяжется.

Но вот прошли года – и к тому, кажется, склонилось, что ошибся я по всем трём своим убеждённостиам.

Не такое уж бесплодное оказалось поле литературы. Как ни выжигали в нём всё, что даёт питание и влагу живому, а живое всё-таки выросло. Можно ли не признать за живое и «Тёркина», и «Тёркина на том свете», и крутолучинских мужиков Залыгина? Как не признать живыми имена Шукшина, Можая, Тендрякова, Белова, Астафьева да и Солоухина? И Максимов. И Владимов. И какой же сильный и добротный был бы Ю. Казаков, если бы не прятался от главной правды? Я не перечисляю всех имён, сюда это не идёт. А ведь есть ещё – смелые молодые поэты. Вообще: союз писателей, не принявший когда-то Цветаеву, проклявший Замятина, травивший Булгакова, отдавший на смерть Мандельштама, Павла Васильева, Пильняка, Артёма Весёлого, исторгнувший Ахматову и Пастернака, этот прожжённый союз представлялся мне из подполья совершенным Содомом и Гоморрой, теми ларёшниками и менялами, захлаившими и осквернившими храм, чьи столики надо опрокидывать, а самих бичом изгонять на внешние ступени. Удивлён же я и очень рад своей ошибке.

Ошибся я и во втором предвидении, но уже на беду: хитрых таких, и упорных таких – и счастливых таких! – оказалось совсем мало. Целая литература из нас никак уже не получится, работала чекистская метла железнее, чем я думал. Сколько светлых умов и даже, может быть, гениев – втёрты в землю без следа, без концов, без отдачи. (Или они ещё упорнее и хитрее нас? – и даже сегодня пищут безмолвно и не высовываются, зная, что час Свободы не достигнут? Допускаю. Потому что и обо мне бы кто-нибудь рассказал в секции прозы годиком раньше – ведь не поверили ж бы?)

Варлам Шаламов раскрыл листочки по самой ранней весне: уже XX съезду он поверил, и пустил свои стихи первыми ранними самиздатскими тропами уже тогда. Я прочёл их летом 1956 и задрожал: вот он, брат! из тайных братьев, о которых я знал, не сомневался. Была ниточка и мне ему тут же открыться, но оказался я недоверчивее его, да и много ещё было у меня не написано тогда, да и здоровье и возраст позволяли терпеть, – и я смолчал, продолжал писать.

Ошибся я и в третьем своём убеждении: гораздо раньше, ещё при нашей жизни, начался наш первый выход из бездны тёмных вод. Мне пришлось дожить до этого счастья – высунуть голову и первые камешки швырнуть в тупую лбину Голиафа. Лоб оставался цел, отскакивали камешки, но, упав на землю, зацветали разрыв-травой, и встречали их ликованием или ненавистью, никто не проходил просто так.

А дальше, наоборот, замедлилось – потянулось как протяжная холодная весна. Стала петлями, петлями закидываться история, чтобы каждую петлю обхватить и задушить побольше шей. И так всё пошло неохотно (да так и надо было ждать), что сейчас и выбора у нас не осталось, и придумать ничего не придумаешь, как в этот лоб непроимчивый швырнуть последние камешки из последних силёнок.

Да, да, конечно, кто же не знает: не проткнуть лозою железобетонных башенных стен. Да вот догадка: может, они на рогоже нарисованы?

* * *

Двенадцать лет я спокойно писал и писал. Лишь на тринадцатом дрогнул. Это было лето 1960 года. От написанных многих вещей – и при полной их безвыходности, я стал ощущать

переполнение, потерял лёгкость замысла и движения. В литературном подпольи мне стало не хватать воздуха.

Сильное преимущество подпольного писателя – в свободе его пера: он не держит в воображении ни цензоров, ни редакторов, ничто не стоит против него, кроме материала, ничто не реет над ним, кроме истины. Но есть в его положении и постоянный ущерб: нехватка читателей, и особенно литературно-изошрённых, требовательных. Ведь своих немногих читателей (у меня их было меньше десятка, главным образом бывших зэков, да и то никому из них не удалось прочесть все вещи, – ведь живём в разных городах, ни у кого нет ни лишних дней, ни лишних средств для поездок, ни лишних комнат для гощения), своих читателей писатель-подпольщик выбирает совсем по другим признакам: политической надёжности и умению молчать. Эти два качества редко соседствуют с тонким художественным вкусом. Итак, жёсткой художественной критики со знанием современных литературных норм писатель-подпольщик не получает. А оказывается, что эта критика, трезвая топографическая привязка написанного в эстетическом пространстве, – очень нужна, каждому писателю нужна, хоть в пять лет раз, хоть в десять лет разочек. Оказывается, пушкинский совет:

«Ты им доволен ли, взыскательный художник?» –

хотя и очень верен, но не до самого полна. Десять и двенадцать лет пиша в глухом одиночестве, незаметно распоясываешься, начинаешь прощать себе, да не замечать просто: то слишком резкой тирады; то пафосного вскрика; то пошловатой традиционной связки в том месте, где более верного крепления не нашёл.

Позже, когда я из подполья высунулся и *облегчал* свои вещи для наружного мира, облегчал от того, чего соотечественникам ещё никак на первых порах не принять, я с удивлением обнаружил, что от смягчения резкостей вещь только выигрывает и даже усиливается в воздействии; и те места стал обнаруживать, где не замечал раньше, как я себе поблажал: вместо кирпича целого, огнеупорного, уставлял надбитый и крохкий. Уже от первого касания с профессиональной литературной средой я почувствовал, что надо подтягиваться.

Из-за полного своего невежества я особенного маху дал в пьесах. Когда стал писать пьесы в лагере, потом в ссылке, я держал в представлении единственно виденные мною театральные спектакли провинциального Ростова 30-х годов, которые уже тогда никак не соответствовали мировому театральному уровню. Уверенный, что главное в творчестве – правда и жизненный опыт, я недооценил, что формы подвержены старению, вкусы XX века резко меняются и не могут быть оставлены автором в пренебрежении. Теперь-то, походив в московские театры 60-х годов (театры, увы, уже не артистов и даже не драматургов, театры режиссёров как почти единственных творцов спектакля), я стал иногда и жалеть, что писал пьесы².

В 1960 году всего этого я не мог бы точно назвать и объяснить, но ощутил, что коснею, что бездействует уже немалый мой написанный ком, – и какую-то потяготу к движению стал я испытывать. А так как движения быть не могло, некуда было пошевелинуться даже, то я стал тосковать: упиралась в тупик вся моя так ловко задуманная, беззвучная, безвидная литературная затея.

Толстой перед смертью написал, что это вообще безнравственно: писателю печататься при жизни. Надо, мол, работать только впрок, а напечатают пусть после смерти. Не говоря о том, что Толстой ко всем благим мыслям приходил лишь после круга страстей и грехов, – здесь он ошибся даже и для медленных эпох, а уж для быстрой нашей – тем более. Он прав, что жажда повторного успеха у публики портит писательское перо. Но больше портит перо мно-

² Проза Шаламова тоже, по-моему, пострадала от долголетней замкнутости его работы. Она могла бы быть совершеннее – на том же круге материала и при том же авторском взгляде.

голетняя невозможность иметь читателей – и строгих, и враждебных, и восхищённых, невозможность никак повлиять пером на окружающую жизнь, на растущую молодёжь. Такая немота даёт чистоту, но и разгружает от ответственности. Суждение Толстого опрометчиво.

Современная печатная литература, до той поры только смешившая меня, тут уже стала раздражать. Появились как раз мемуары Эренбурга и Паустовского – и я послал в редакции резкую критику, конечно никем не принятую, потому что моего имени никто не знал. По форме статья моя получилась как бы против мемуарной литературы вообще, а на самом деле это был упрёк, что писатели, видевшие большую мрачную эпоху, всё стараются юзом проскользнуть, не сказать нам ничего главного, а пустячки какие-нибудь, смягчающей мазью глаза нам залепливают, чтоб мы дольше не видели истины, – а чего уж так они боятся, писатели с положением, неугрожаемые?

В ту осень, мыкаясь в своей норе и слабея, стал я изобретать: не могу ли я всё-таки что-нибудь такое написать, чего пусть нельзя будет печатать – но хоть показывать людям можно! хоть не надо прятать! Так я задумал писать «Свечу на ветру» – пьесу на современном, но безнациональном материале: о всяком благополучном обществе нашего десятилетия, будь оно западное или восточное.

Эта пьеса – самое неудачное из всего, что я написал, далась мне и труднее всего. Верней: первый раз я узнал, как трудно и долго может не получаться вещь, хоть переписывай её 4–5 раз; и можно целые сцены выбрасывать и заменять другими, и всё это – сочинённость. Много я на неё потратил труда, думал – кончил, а нет, не получилась. А ведь я взял в основу подлинную историю одной московской семьи, и нигде душой не покривил, все мысли писал только искренние и даже излюбленные, с первого акта отказавшись угождать цензуре, – почему же не удалось? Неужели потому лишь, что я отказался от российской конкретности (не для маскировки только, не только для «открытости», но и для большей общности изложения: ведь о сытом Западе это ещё верней, чем о нас), – а без русской почвы должен был я и русский язык потерять? Но другие же свободно пишут в этой безликой, безъязыкой манере – и получается, почему ж у меня?.. Значит, нельзя в абстракции сделать полтора шага, а всё остальное писать конкретно.

Другую попытку я сделал в 1961, но совсем неосознанно. Я не знал – для чего, у меня не было никакого замысла, просто взял «Щ-854» и перепечатал *облегчённо*, опуская наиболее резкие места и суждения и длинный рассказ кавторанга Цезарю о том, как дурили американцев в Севастополе 1945 года нашим подставным благополучием. Сделал зачем-то – и положил. Но положил уже открыто, не пряча. Это было очень радостное освобождённое состояние! – не ломать голову, куда прятать новозаконченную вещь, а держать её просто в столе – счастье, плохо ценимое писателями. Ведь никогда ни на ночь я не ложился, не проверив, всё ли спрятано и как вести себя, если ночью постучат.

Я уставал уже от конспирации, она задавала мне задачи головоломнее, чем само писательство. Но никакого облегчения ни с какой стороны не предвиделось, и западное радио, которое я слушал всегда и сквозь глушение, ничего не знало о глубинных геологических сдвигах и трещинах, которые скоро должны были отдаться ударом на поверхность. Ничего никто не знал, ничего я радостного не ожидал, и взялся за новую отделку и перепечатку «Круга». После безцветного XXI съезда, втуне и безмолвие оставившего все славные начинания XX, никак было не предвидеть ту внезапную залиvistую яростную атаку на Сталина, которую назначит Хрущёв XXII съезду! И объяснить её мы, неосведомлённые провинциалы, никак не могли!

Однако она произошла, и не тайная, как на XX съезде, а открытая! Давно я не помнил такого интересного чтения, как речи на XXII съезде! В маленькой комнатке деревянного прогнившего дома, где все мои многолетние рукописи могли сгореть от одной несчастной спички, я читал, читал эти речи – и стены моего затаённого мира заколебались, как занавеси театральных кулис, и в своём свободном колебании расширились и меня колебали и разрывали: да не

пришёл ли долгожданный страшный радостный момент – тот миг, когда я должен высунуть макушку из-под воды?

Я не смел ошибиться! Нельзя было высунуться прежде времени. Но и пропустить редкого мига тоже было нельзя!

А тут ещё хорошо выступил на XXII съезде и Твардовский, и такая у него была нотка, что давно можно печатать смелее и свободнее, а «мы не используем». Такая нотка, что просто нет у «Нового мира» произведений посмелее и поострее, а то бы он мог.

Твардовского времён «Муравии» я нисколько не выделял из общего ряда поэтов, обслуживающих курильницы лжи. И примечательных отдельных стихотворений я у него не знал, не обнаружил, просматривая в ссылке двухтомник 1954 года. Но со времён фронта я отметил «Василия Тёркина» как удивительную удачу: задолго до появления первых правдивых книг о войне (с некрасовских «Окопов» не так-то много их и всех удалось, может быть полдюжины), в потоке угарной агитационной трескотни, которая сопровождала нашу стрельбу и бомбёжку, Твардовский сумел написать вещь вневременную, мужественную и неогрязнённую – по редкому личному чувству меры, а может быть, и по более общей крестьянской деликатности. (Этой деликатности под огрубелой необразованностью крестьян и в тяжком их быту я не могу перестать изумляться.) Не имея свободы сказать полную правду о войне, Твардовский оставался, однако, перед всякой ложью на последнем миллиметре, нигде этого миллиметра не переступил, нигде! – оттого и вышло чудо. Я это не по себе одному говорю, я это хорошо наблюдал на солдатах своей батареи во время войны. По условиям нашей звукоразведывательной службы они даже в боевых условиях много имели времени для слушанья чтения (ночами, у трубок звукопостов, а с центрального читали что-нибудь). Так вот из многого, предложенного им, они явно выделили и предпочли: «Войну и мир» и «Тёркина».

Но потом лагерный, и ссыльный, и преподавательский, и подпольный недосуг не дали мне прочесть ни «Дома у дороги», ни другого чего. (Только «Тёркина на том свете» читал я в списках ещё в 56-м году. Самиздату всегда предпочтение и внимание.) Я не знал даже, что публиковалась в «Правде» глава «За далью даль», что поэма в том году получила ленинскую премию. «За далью даль» я прочёл гораздо позже, а главу «Так это было» – когда попалась мне в «Новом мире».

По тому времени, по всеобщей робости она выглядела смелой: трудоночь тётки Дарьи, «ура! он снова будет прав...» и даже «Москва высотная вставала, как некий странный павильон». И был уже тогда у меня первый толчок: не показать ли чего-нибудь написанного Твардовскому? не решиться ли?

Но всё ту же главу перелистывая и раздумывая, я встречал и «грозного отца», и «правоту» его обок с неправотою, и ему мы «обязаны победой», и родство Сталина с бранной сталью,

И в нашей книге золотой...
Ни строчки, даже запятой...
Чтоб заслонила нашу честь.
Да, всё, что с нами было, –
Было!

Уж слишком мягко: сорокалетний позор лагерей – не заслонил чести? Уж слишком безконтурно: «что было – то было», «тут ни убавить, ни прибавить». Так и обо всех видах фашизма можно сказать. Тогда и Нюрнберга не надо? – что было, то было...? Философия беспомощная, не вытягивающая на суждение об истории³. Поэт трогал ногой рядом с мощёной тропкой, но страшно было ему сходить.

³ Лидия Чуковская в «Записках об Анне Ахматовой» вспоминает, как та пятью годами раньше гневалась на Твардовского

И я не знал: если выдраться к нему из трясины и руки протянуть: сходи! – то пойдёт или упрётся?

И о «Новом мире» я не имел отличительного суждения: по тому, чем наполнены были его главные страницы, он для меня мало отличался от остальных журналов. Те контрасты, которые между собою усматривали советские журналы, были для меня ничтожны, а тем более для дальней исторической точки зрения – спереди ли, сзади. Все эти журналы пользовались одной и той же главной терминологией, одной и той же божбой, одними и теми же заклинаниями, – и всего этого я даже ложкой чайной не мог принять.

Но – что-нибудь же значил гул подземных пластов, прорвавшийся на XXII съезд?.. Я – решил. Вот тут и сгодился неизвестно для какой цели и каким внушением «облегчённый» «Щ-854». Я решил подать его в «Новый мир». (Не случись это – случилось бы другое, и худшее: я послал бы фотоплётку с лагерными моими трудами – за границу, под псевдонимом Степан Хлынов, как она уже и была заготовлена. Я не знал, что в самом удачном варианте, если на Западе это будет и опубликовано и замечено, – не могло бы произойти и сотой доли того влияния. Но уже целый год тошнота моего тупикового положения нудила меня к какому-то прорыву.)

Сам я в «Новый мир» не пошёл: просто ноги не тянулись, не предвидя успеха. Мне было 43 года, и достаточно я уже колотился на свете, чтоб идти в редакцию начинающим мальчиком. Мой тюремный друг Лев Копелев взялся передать машинопись. Хотя шесть авторских листов, но это было совсем тонко: ведь с двух сторон, без полей и строка вплотную к строке.

Я отдал – и охватило меня волнение, только не молодого славолюбивого автора, а старого огрызчивого лагерника, имевшего неосторожность дать на себя след.

Это было начало ноября 1961. (В случайной записи от того месяца: «Ощущение высокого взлёта на качелях: страшно, дух захватывает – и хорошо».) Я и пути не знал в московские гостиницы, а тут, пользуясь предпраздничным безлюдьем, получил койку. Здесь я пережил дни последних колебаний – ещё можно было остановить, вернуть. (Остался я не для колебаний, а для чтения самиздатского «По ком звонит колокол», полученного на три дня. До той поры я и Хемингуэя ни одной строчки не читал.)

Гостиница оказалась в Останкине, совсем рядом с той семинарией-шарашкой, где происходит действие моего «Круга» и где, уже с первым лагерным опытом, я по-серьёзному начал писать в 1948. Перемежая с Хемингуэем, я выходил побродить мимо забора своей шарашки. Он всё так же стоял, по тому же периметру обмыкая всё то же малое пространство, где когда-то стиснуто было столько выдающихся людей и кипели наши споры и замыслы.

В десятке метров брёл я теперь от того архиерейского домика-ковчега и тех лип, вечных лип, под которыми три года вышагивал-вышагивал-вышагивал утром, днём и вечером, мечтая о далёкой светлой свободе – в иные, светлые, годы и в посветлевшей стране.

А теперь, в пасмурный осклизлый день, по мокренькой ноябрьской слякоти, я шёл по другую сторону забора, по тропинке, где только смена караула от вышки к вышке пробиралась раньше, и думал: что ж я наделал? Ведь я – опять в их руках.

Как мог я, ничем не понуждаемый, сам на себя отдать донос?..

за тогдашнюю главу «Друг детства»: «Новая ложь взамен старой!» Страна? При чём же здесь страна!.. Народ? Какой же тут народ! И поэт вместе с эком... ведал всё. И хлеб тот ел. И экз По одному со мной билету, Как равный гость, бывал в Кремле. Да: для 1956 удобная лесенка лжи.

Обнаруживаясь

А потом целый месяц в Рязани я тягостно жил: где-то невидимо двигалась теперь моя судьба, и я всё больше уверялся, что – к худшему. Исконному зэку, сыну ГУЛАГа, почти недоступно верить в лучшее. И за лагерные годы отвыкнув от всякого собственного решения (почти всегда во всём крупном ты отдан течению рока), мы даже привыкаем, что безопаснее ничего не решать, не предпринимать: живёшь – и живи.

А я вот нарушил этот лагерный закон, и теперь было страшно. Да шла ж работа и над новой редакцией «Круга»; все тексты, и лагерных всех вещей, были у меня в квартире, и тем более губительным легкомыслием казалась эта затея с «Новым миром».

Как бы ни гремел XXII съезд, какой бы памятник ни сулились поставить погибшим зэкам (впрочем – только коммунистам, впрочем – и по сей день не поставили), а поверить, что вот уже пришло время правду говорить – ну в это же поверить нельзя, ну слишком отучены головы наши, сердца и языки! Мы уже смиренны, что и никогда не скажем правды и никогда не услышим.

Однако 9 декабря от Л. Копелева пришла телеграмма: «Александр Трифонович восхищён статьёй» («статьёй» договорились мы зашифровать рассказ, статья могла бы быть и по методике математики). Как птица с лёта ударяется в стекло – так пришла та телеграмма. И кончилась многолетняя неподвижность. Ещё через день (в день моего рождения как раз) пришла телеграмма и от самого Твардовского – вызов в редакцию. А ещё назавтра я ехал в Москву и, пересекая Страстную площадь к «Новому миру», суеверно задержался около памятника Пушкину – отчасти поддержки просил, отчасти обещал, что путь свой знаю, не ошибусь. Вышло вроде молитвы.

Вместе с Копелевым мы поднялись по широкой барской лестнице «Нового мира» – в кино эту лестницу снимать для сцены бала. Был полдень, но Твардовский ещё не приезжал, да и редакция только что собралась, так поздно они начинали. Стали знакомиться в отделе прозы. Редактор его Анна Самойловна Берзер сыграла главную роль в вознесении моего рассказа в руки Твардовского.

Это так получилось (только не в тот год мне было рассказано). Долго хранимая и затаённая моя рукопись пролежала на столе у А. Берзер целую неделю неприкрытая, даже не в папке, доступная любому стукачу или похитителю, – Анну Самойловну не предупредили, оставляя, о свойствах этой вещи. Как-то А. С. начала расчищать стол, прочла несколько фраз – видит: и держать так нельзя и читать надо не тут. Взяла домой, прочла вечером. Поразилась. Проверила впечатление у подруги – Калерии Озеровой, редактора критического отдела. Сошлось. Хорошо зная обстановку «Нового мира», А. С. определила, что любой из членов редакционной коллегии, в ладу со своим пониманием благополучия журнала, непременно эту рукопись перехватит, зажмёт, заглотнёт, не даст ей дойти до Твардовского. Значит, надо было исхитриться перебросить рукопись через всех них, перешвырнуть через топь осторожности и трусости, – и в первые руки угодить – Твардовскому. Но! – не отвратился бы он от рукописи из-за её убогого, слепленного, сжатого вида. Попросила А. С. перепечатать за счёт редакции. Ушло на это время. Ещё ушло – на ожидание, пока Твардовский вернётся из очередного приступа своей слабости (несчастных запоев, а может быть, спасительных, как я понял постепенно). Но главная трудность была – как заманеврировать членов редакции и прорваться к Твардовскому, который редко её принимал и несправедливо недолюбливал, то ли не оценивал её художественного вкуса, трудолюбия и отдачи всей себя интересам журнала. Хорошо, однако, зная суть и слабые места всех своих начальников, она у первого из них, зав. отделом прозы Е. Н. Герасимова, в прошлом достаточно трянутого судьбой, спросила: «Есть вещь о лагерях. Будешь читать?» Герасимов отмахнулся: «Не морочь мне голову этими лагерями». Тот же вопрос – второму

заместителю Главного, А. Кондратовичу – маленькому, как бы с ушами настороженными, дёрганому и запуганному цензурой. Ответил Кондратович, что о лагерях он *всё* уже знает, ничего ему не надо. К тому ж печатать всё равно нельзя. Тогда А. Берзер положила рукопись перед ответственным секретарём Б. Заксом и спросила коварно так: «Посмотрите, вам хочется это читать?» Нельзя было спросить ловчей. Уже много лет Б. Г. Заксу, сухому невесёлому джентльмену, никак не хотелось от художественной литературы, чтоб она испортила ему конец жизни, коктебельские солнечные октябри и лучшие зимние московские концерты. Он прочёл первый абзац моего рассказа, положил молча и ушёл. (Да ведь печатать же нельзя.)

Теперь А. Берзер имела полное право обратиться и к Твардовскому, – ведь все отказались! Она дождалась случая, правда в присутствии Кондратовича, наедине не удалось, и сказала Главному, что есть две особых рукописи, требующих непременно его прочтения: «Софья Петровна» Лидии Чуковской и ещё такая: «лагерь глазами мужика, очень народная вещь». Опять-таки, в шести словах нельзя было попасть точнее в сердце Твардовского! Он сразу сказал – эту давайте⁴. Но опомнился и подскочил Кондратович: «Уж дайте до завтра, сперва я прочту!» Не мог он упустить послужить защитным фильтром для Главного!

Взял Кондратович, и с первых же строк понял, что безымянный (подписана фамилия не была, тем я как бы замедлял враждебный ход событий) тёмный автор лагерного рассказа даже расстановки основных членов предложения толком не знает, да и слова-то пишет какие-то дикие. Пришлось ему карандашом исчеркать первую, вторую, пятую, восьмую страницу, возвращая подлежащие, сказуемые да и атрибуты на свои места. Но рассказ оказался весь до конца неграмотный, и Кондратович с какой-то страницы работу эту бросил. Какое у него к утру сформировалось мнение – неизвестно, а думаю, что легко могло оно повернуться и в ту, и в другую сторону. Твардовский же, мнения его не спрося, взял читать сам.

Узнав потом жизнь редакции, я убедился, что не видать бы Ивану Денисовичу света, если б А. Берзер не пробилась к Твардовскому и не зацепила его замечанием, что это – глазами мужика. Не пустили б моего Денисовича три охранителя Главного – Дементьев, Закс и Кондратович.

Не скажу, что такой точный план, но верная догадка-предчувствие у меня в том и была: к этому мужику Ивану Денисовичу не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твардовский и верховой мужик Никита Хрущёв. Так и сбылось: даже не поэзия и даже не политика решили судьбу моего рассказа, а вот эта его dokonная мужицкая суть, столько у нас осмеянная, потоптанная и охаянная с Великого Перелома, да и поранее.

Как Твардовский потом рассказывал, он вечером лёг в кровать и взял рукопись. Однако после двух-трёх страниц решил, что лёжа не почитаешь. Встал, оделся. Домашние его уже спали, а он всю ночь, перемежая с чаем на кухне, читал рассказ – первый раз, потом и второй (ничего моего последующего он второй раз не читал, и вообще, говорят, никаких рукописей второй раз не читает, даже и после авторских уступок). Так прошла ночь, пошли часы по-крестьянскому утренние, но для литераторов ещё ночные, и приходилось ждать ещё. Уже Твардовский и не ложился. Он звонил Кондратовичу и велел узнавать у Берзер: кто же автор и где он. Так получена была цепочка на Копелева, и теперь Твардовский звонил туда. Особенно понравилось ему, что это – не мистификация какого-нибудь известного пера (впрочем, он и уверен был), что автор – и не литератор, и не москвич.

Для Твардовского начались счастливые дни открытия: он бросился с рукописью по своим друзьям и требовал выставлять бутылку на стол в честь появления нового писателя. Надо знать

⁴ А «Софье Петровне» пришлось ещё несколько лет ожидать – до своей четверти века и зарубежного опубликования. Очень понятное у нас, это совсем непонятно Западу: один и тот же журнал не посмел бы опубликовать вторую повесть на тюремную тему. Ведь получалась бы *линия*...

Твардовского: в том он и истый редактор, не как другие, что до дрожи, до страсти золотодобытчика любит открывать новых авторов.

Он кинулся по друзьям, но вот странно: в пятьдесят один год, известный поэт, редактор лучшего журнала, важная фигура в Союзе писателей, немелкий и среди коммунистов, – Твардовский не имел ярких друзей: свой первый заместитель (недобрый дух) Дементьев; да собутыльник, мутный И. А. Сац, шурин и посмертный оруженосец шутовского Луначарского; да М. А. Лифшиц, ископаемый марксист-догматик. Говорят, были периоды дружбы с Виктором Некрасовым, с Эм. Казакевичем, ещё с кем-то, но потом шла дружба по колдобинам, утыкалась, перепокидывалась. Значит, и по окружной среде, и в самом Твардовском было: обречённость на одинокое стоянье. И от крупности. И от характера. И оттого что из мужичества он пришёл. И от неестественной для поэта жизни советского вельможи.

Пока распивались эти бутылки и затребовалась для дивления моя исходная рукопись, где буквы были стеснены как согнанные овцы и не было полоски белой пройтись редакционному карандашу, – в редакции, как велось у них для важных случаев, составлялись письменные заключения о рукописи. Кондратович написал: «...Мы это, наверно, не сможем напечатать... Автору стоило бы прежде всего посоветовать ввести мотив ожидания заключёнными конца страданий... Нужно бы почистить язык». Дементьев: «Угол зрения: в лагере ужасно и за границами лагеря всё ужасно. Случай сложный: не печатать – бояться правды... печатать – невозможно, всё же показывает жизнь с одного боку». (Да не выведет отсюда читатель, что Дементьев действительно колебался – печатать или нет. Он хорошо знал, что печатать и невозможно, и вредно, и не будут, однако раз его шеф так втравился и увлёкся, нельзя было слишком круто отваливать.)

Но всё это я потом, не в один год, узнал и сметил. А в тот мой первый приезд Кондратович, стараясь быть важным (впрочем, его неосновательность и несамостоятельность видны были мне с летучего взгляда), значительно спросил меня как осчастливленного робкого автора:

– А что у вас есть *ещё*?

Лёгкий вопрос! Естественный вопрос – им надо понять, насколько случайна или неслучайна моя удача. Но то и была моя главная тайна. Не для того я хитрил пять лет на лагерных обысках, восемь лет изобретал *занапки* в ссылке и на воле, чтобы поддерживать теперь любезную беседу. Я отломил Кондратовичу:

– Я не хотел бы начинать наше знакомство с этого вопроса.

Приехал Твардовский, и меня позвали в их большую редакционную комнату (новомирцы тогда располагались тесно, и кабинет Твардовского считался в открытом углу той же комнаты). Лишь по плохим газетным фотографиям я его знал и при слабой моей схватчивости на лица мог бы не узнать. Он был крупный, кругом широкий, но подкатился и ещё один, тоже крупный и тоже кругом широкий, да просто-таки симпатяга, еле сдерживающий своё добродушие. Этот второй оказался Дементьев. А Твардовский соответственно моменту держался с достойной церемонностью, однако и сквозь неё сразу поразило меня детское выражение его лица, – откровенно детское, незащитно детское, ничуть, кажется, не испорченное долголетним пребыванием в высоких слоях и даже обласканностью треном.

Вся головка редакции расселась за большим старинным долгоовальным столом, я – против Александра Трифоновича. Он очень старался сдерживаться и вести себя солидно, но это ему мало удавалось: он всё больше сиял. Сейчас был один из самых счастливых его моментов, именинником за столом был не я – он.

Он смотрел на меня с доброжелательством, уже почти переходящим в любовь. Он неторопливо перебирал те разные примеры из рассказа, мелкие и крупные, что приходили ему на

ум, – перебирал с удовольствием, гордостью и радостью даже не открывателя, не покровителя, а творца; он с такой ласковостью и умилением цитировал, будто сам это всё выстрадал и это даже любимая его вещь. (Другие члены редакции все кивали и поддакивали похвалам Главного, только, пожалуй, Дементьев сидел умеренно-безучастный. Он и не выступил в этот день.)

А сдержанней всех и даже почти мрачен сидел я. Эту роль я себе назначил, ожидая, что вот сейчас начнут выламывать кости, требовать уступок и выбросов, а я ни за что их делать не буду – ведь не знают они, что держат в руках уже *облегчённую* редакцию, уже обкатанную. Я понимал, что это только стелют мягко, а сейчас-то и приступят с ножницами – отрезать всё, чем колетса лагерь, и все лохмотья, и все цветки. И своим мрачным видом я им заранее показывал, что нисколько я не вскружен и не очень-то дорожу новым знакомством.

Но чудо! – мне не выламывали рук. Но чудо! – не вытаскивали и не разевали ножниц. Да не сошёл ли я с ума? Неужели редакция серьёзно верит, что это можно напечатать?

Всего-то замечаний было у Твардовского – обходительных просьб, самым бережным голосом высказанных! – два: что не может Иван Денисович зариться на левую чужую работу – раскраску ковров; и что не может он совсем уж не допускать, что ступит когда-нибудь на волю. Так это, пожалуй, и верно было, это я легко тут же пообещал. А Закс произнёс, что не может Иван Денисович всерьёз верить, что Бог луну на звёзды крошит. А Марьямов указал мне на два-три неверных украинских слова.

Так приятели задушевные, так же сотрудничать можно! Не такими я представлял себе наши редакции...

Предложили мне для весу назвать рассказ повестью, – ну, ин пусть будет повесть⁵. Ещё, не допуская возражений, сказал Твардовский, что с названием «Щ-854» повесть никогда не сможет быть напечатана. Не знал я их страсти к смягчающим, разводняющим переименованиям и тоже не стал отстаивать. Переброской предположений через стол с участием Копелева сочинили совместно: «Один день Ивана Денисовича». (Мой подзаголовок и был: «Один день одного зэка».)

Предупредил меня Твардовский, что напечатания твёрдо не обещает (Господи, да я рад был, что в ЧКГБ не передали!) и срока не укажет, но не пожалеет усилий.

С любопытством задавали мне разные смежные вопросы. Сколько времени я писал эту повесть? (Осторожно, взрывается! Сорок пять дней я её писал. А что ж тогда остальные годы?) Да видите, трудно подсчитать, ведь всё урывками, после школы... В каком году начал, в каком кончил, сколько она у меня лежала? (Все даты огнём горели во мне! – но начни их называть, и сразу станет ясно, сколько ещё пустого времени.) Я как-то не запоминал годов... А почему я так тесно печатаю – без просветов, с двух сторон? (Да вы понимаете, что такое кубические сантиметры, вислоухие?!...) Просто, знаете, в Рязани бумаги не купишь... (Что тоже правда.)

Расспрашивали о моей жизни, прошлой и настоящей, и все смущённо смолкли, когда я бодро ответил, что зарабатываю преподаванием шестьдесят рублей в месяц и мне этого хватает. (Я в Рязани и не хотел полной ставки, чтобы время было, а при высокой зарплате жены она сама содержала своих трёх старушек.) Такие цифры для литераторов вообще за чертой понимания, за несколько строк рецензии столько платят. Да и одет я был в уровень со своей зарплатой. Властно и радостно распорядился Твардовский тут же заключить со мной договор по высшей принятой у них ставке (один аванс – моя двухлетняя зарплата). Я сидел как в дурмане, силясь держать внимание на том, чтобы не сказать о себе лишнего.

⁵ Зря я уступил. У нас смываются границы между жанрами и происходит обезценение форм. «Иван Денисович» – конечно рассказ, хотя и большой, нагруженный. Мельче рассказа я бы выделял новеллу – лёгкую в построении, чёткую в сюжете и мысли. Повесть – это то, что чаще всего у нас гонятся называть романом: где несколько сюжетных линий и даже почти обязательна протяжённость во времени. А роман (мерзкое слово! нельзя ли иначе?) отличается от повести не столько объёмом и не столько протяжённостью во времени (ему даже пристала сжатость и динамичность), сколько – захватом множества судеб, горизонтом взгляда и вертикалью мысли.

Упорнее всего Твардовский и редакция добивались: а что у меня есть ещё? ещё – что? ещё? Пробегая мои похороненные от 1948 года пласты, я выбирал, что ж им назвать. Едучи сюда, я не готовился ничего больше открывать, но что-то надо было, трудно было убедить их, что «Иван Денисович» написан как первая проба пера.

Говорила лиса мужику: ты мне дай только на воз лапку положить, а вся-то я и сама вспрыгну.

Так и со мной.

Пообещал я, что покопаюсь к следующему разу, что *кажется*, ещё у меня рассказик найдётся, да несколько этюдиков, да несколько стихов. (Тут обрадованно изрек Кондратович, что и – хорошо, лагерная тема *исчерпана* «Иваном Денисовичем», и хорошо бы мне взяться за фронтovou. Двадцать лет, тысячи ртов, они дружно дудили в армейскую дуду – и тема не была исчерпана! А пятидесяти миллионам, погибшим в ссылках и лагерях, довольно было бугорка моего рассказа!..)

За тот декабрь ещё раза два мне пришлось приезжать в Москву. Смягчили в рассказе десяток выражений, но правильно предупредила меня Берзер, с которой мы быстро и тепло сдружились, что никогда не поймёшь, что пройдёт в цензуре, а что зацепится, и лучше подольше ничего не исправлять. Да у меня и настроения не было уступать. Мне легче было забрать рассказ назад, чем его изувечить.

В те приезды я и привёз Твардовскому: несколько лагерных стихотворений, несколько «Крохоток» побезобиднее и рассказ «Не стоит село без праведника», облегчённый от самых непроходимых фраз. «Крохотки» он признал «записями в общую тетрадь про запас», их жанра совсем не почувствовал. О стихах сказал: «Иные печатать можно, но *выстрела* не получится, а хочется выстрела». (Мятежный просил бури! – нет, он совсем не заплеснул!) О «Матрёне» же состоялось 2 января 1962 редакционное обсуждение.

(С этого времени я догадался, что сгодятся когда-нибудь записи литературных встреч, и стал записывать всегда посвежу, а то и при самих обсуждениях. Так записано и всё о Твардовском – и теперь жалко не привести тех встреч достоверно и объёмно, хотя это может отяготить построение «Очерков», лишить их краткости и лёгкости, каких бы я хотел.)

За тем же большим долгоовальным столом, где недавно так много их сидело, теперь Твардовский не собрал кворума: кто прочесть не успел, кого в редакции не было. Пришёл Дементьев (на полной ставке в Институте Мировой Литературы, он в «Новом мире» появлялся ненадолго, здесь был не заработок его, а – важная миссия). Твардовский пригласил: «Саша, садись!» Но Дементьев отмахнулся, как от пустого: «Да чего ж тут говорить!» Он это по виду сокрушённо сказал (всё равно, де, не напечатать), но я воспринял иной тон: рассерженность, что я несу им рассказы один наглее другого и совлекаю Твардовского с проверенного мощёного пути. Я тогда же ощутил верный смысл этого их короткого перекура.

Они были на «ты», очень всегда запросто, оба – Саши. Никто в редакции не смел Твардовскому возражать, один Дементьев поставил себя с независимым мнением и вволю спорил, и даже так устоялось, что Твардовский никакого решения не считал окончательным, не столковавшись с Дементьевым, – не убедя или не уступя. А особенно дома (они в одном доме на Котельнической жили) Дементьев умел брать верх над Главным: Твардовский и кричал на него, и кулаком стучал, а чаще соглашался. Так незаметно один Саша за спиной другого поднаправлял журнал. Говорят, влиял Дементьев осторожно, очень взвешенно. Твардовский вряд ли бы потерпел, если б Дементьев всегда только удерживал его. Немало было случаев, что он и подталкивал – нечего, де, робеть (так было с рассказами В. Гроссмана, например). И почти неизменно он выставлял: «Саша, ты не прав! Это будем печатать!» – когда Твардовский упирался по каким-то личным причинам. Дементьев спорил – но и знал меру, где отступить, признать себя побитым. Он никогда не бывал пусто-чванен, надут, и это облегчало существование ему самому и членам редакции. К нему не боязно было обратиться любому редактору, Демен-

тьев всегда был настроен делово, живо выхватывал суть, и какую статью или абзац можно было пособить протолкнуть, – набросив ширмочку, переставив слова, – пособлял непременно. Он способствовал, чтобы журнал был и посвежей, и посочней, и даже поострей – но всё в рамках *разумного!* но стянутое проверенным партийным обручем и накрытое проверенной партийной крышкой!

Он и с авторами разговаривал свободно, успешно: лишённый самодовольства, он имел глаза рассмотреть автора и правильно с ним обратиться. Он очень приятно окал, улыбался приятно, и знал за собой, как он нравится собеседникам – толстоморденым симпатичный мужичок, с очень уже прореженными, чуть вьющимися волосами, под шестьдесят лет. Он и прищуриться умел и вполголоса намекнуть – свойский парень, понятный каждому. Да вот он охотно принимает вашу рукопись! – «ну поработаем, конечно, *поработаем!*» (и исковеркает). Он и перед Главным, перед которым вы робеете, умеет за вас замолвить: «Саша, ты прав, это дерьмо, но автору же нельзя вложить твою голову. Ну, поддержим его, подправим, напечатаем».

Но там, где разрывался партийный обруч, где выбивалась крышка, – там Дементьев не понимал: о чём можно толковать? Там вступало сердце и зрение Твардовского. Так сорвалось у Дементьева с «Иваном Денисовичем»: впечатления безсонной ночи и двойного чтения были слишком сильны над Твардовским, чтобы рывку его поэтического и мужицкого чувства Дементьев отважился противостать.

Впрочем, это тоже всё годами позже я узнал и понял. А тогда только чувствовал в Дементьеве врага. Я ещё не понимал, что главное обсуждение «Матрёны» уже состоялось между ними двумя, дома, втихую, что на этот раз второй Саша уже одолел первого «партийной истиной». Одолел редактора, но не мог заглушить чувства в поэте. И Твардовский, обречённый отказать мне, мучился, и для того и кликал второго Сашу за стол ничего не решающего обсуждения, чтобы тот помог разобраться в его собственном смятении и объяснить мне, почему рассказ о Матрёне ни в коем, ни в каком случае не может быть напечатан. (Как будто я им это предлагал! Я принёс рассказ, чтоб только откупиться от расспросов.) Но ушёл Дементьев, не помог, – и досталось Твардовскому «обсуждать» самому – при трёх молчащих сотрудниках редакции и моих редких слабых ответах. Почти три часа длилось это *обсуждение* – монолог Твардовского.

Это была сбивчивая, растерянная и сердечная речь. (Сидевшая среди нас Берзер говорила мне потом, что за все годы в «Новом мире» не помнила, не слышала Твардовского таким.)

Он делал круг над рассказом и потом круг общих рассуждений, и опять над рассказом, и опять – общих рассуждений. Художник истинный, он не мог упрекнуть меня, что здесь неправда. Но признать, что это и есть правда в полноте, – подрывало его партийные, общественные убеждения.

Да не первый же раз, да сколько раз уже, конечно, он переживал это разрушительное душевное столкновение, только может быть не сходилась таким острым клином! Он и жил-то единственным истоком: русской литературой – с тех первых некрасовских стихов, заученных босоногим мальчишкой, и со своего первого стихотворения, написанного в тринадцать лет. Он предан был русской литературе, её святому подходу к жизни. И хотелось ему быть только – как те, Пушкин и кто за ним. Повторяя Есенина, он охотно бы умер от счастья, сподобленный пушкинской судьбе. Но не тот был век, и всеми и всюду была признана и в каждого внедрена, – а тем более в главного редактора, – другая, более важная истина – партийная. Направлять сегодня русскую литературу, помогать ей он не мог бы без партийного билета. А партийный билет он не мог носить неискренно. И как воздух нужно было ему, чтоб эти две правды не раздваивались, а сливались. (Потому вскоре он так полюбит и приблизит Лакшина, что тот сумеет ловко ладить между этими двумя правдами, сумеет пластично переходить от одной к другой, не выявляя трещины.) Всякую рукопись полюбив сперва чувством первым, Твардовский непременно должен был провести её через второе чувство и лишь тогда печатать – как произведение *советское*.

Мы все сидели неподвижно, а он вставал и использовал простор позади своего стула, похаживал два-три шага туда-сюда. Говорил так: «Уж до такой степени у вас деревня с парадной стороны – ну хоть бы один заходик с парадной... Все вокруг – дегенераты, вурдалаки, – а ведь из каких-то же деревень и генералы выходят, и директора заводов, и потом сюда в отпуск приезжают». Но тут же сам себя поворачивал: «Нет, я не говорю вам, чтоб вы сделали Киру комсомолкой». То находил он «слишком христианским» отношение повествователя к жизни. То, как на приколе, ходил вокруг мысли, что стало у нас *добро* – имуществом, и Толстой выступал ему напомин: «дети, старик *добро* вам говорил!» И хвалил мой рассказ за сходство с моральной прозой Толстого. И упрекал, что он «художественно пожиже», чем «Иван Денисович». (Ведь если художественно пожиже, так вот почему и можно не печатать...) Но тут же опять хвалил то за народные слова, то за сельские наблюдения.

Дошёл до того, что хвалил «реализм без прилагательных» и признавался, что ему приходится *критический* несколько не хуже социалистического.

И потом ещё много было о материально-технической базе – о той, которая и в Америке, и в Швеции выше, и мы за 20 лет её не достигнем, но уже сейчас «с отвращением от неё отталкиваемся». И тут же вспоминал, как Сталин, возражая Троцкому, обещал построить социализм «не за счёт ограбления деревни». И вдруг остановился, как застигнутый снопом света, и, изумлёнными глазами обведя нас, спросил: «А за счёт же чего он построен?» Но мы не протянули ему соломинки, мы молчали, и снова он брёл по вязкому паркетному полу и рассуждал о разрыве между материально-технической базой и моралью. Однако, настаивал он, «религия имела слабое сдерживающее влияние на дурные инстинкты». (Непонятно, что ж их тогда сдерживало?..)

Так он вёл свой почти непрерывный монолог, то светясь благородством, то сгибаясь под догматическим потолком; то вздрагивая от чутья правды, опережающего и слух, и глаза поэта, то как бульдозер натужно выталкивая наперёд себя баррикадой авгиевы завалы.

А мы не возражали и не соглашались – мы молчали. Возражал же ему – рассказ о нищей старухе Матрёне, безмолвная рукопись, которую он обещал Дементьеву отвергнуть. И не получив ни единого возражения вслух, но как будто битый по всем аргументам, Александр Трифонович с раскаянным стоном выложил свой последний и главный:

– Ну да нельзя же сказать, чтоб Октябрьская революция была сделана зря!

Никто из нас этого не говорил. Боже упаси! никто не писал! Но вот конфуз – и сейчас никто из нас не подтвердил, не улыбнулся, ни даже кивнул. Мы неприлично молчали.

Как? – мы и этого простейшего не понимали? В недоумении, как всё ещё переослеплённый светом фар, Александр Трифонович стал против нас быковато и воскликнул в тоске:

– Так ведь если б не революция – не открыт бы был Исаковский!.. А кем бы был я, если б не революция?..

Только эти факультативные поэтические события и подвернулись ему на язык в ту минуту! (А Есенин, а Клюев, Клычков – *стали* и без революции? А что получили от неё?)

И завершилось обсуждение тем, что – нет, конечно нет, безусловно нет, «эта вещь не может быть напечатана».

Но хотя естественно было после того вернуть рукопись автору, Твардовский с виноватой заминкой сказал:

– А всё-таки оставьте её пока в редакции. Почитает кое-кто...

Всё равно её обнаружив, ничего я теперь не терял, хоть и оставить.

И ещё А. Т. *попросил* меня (после сказанного многого это совсем изумительно звучало):

– Только пожалуйста, не станьте *идейно-выдержанным*! Не напишите такой вещи, которую бы редакторы и без моего ведома, сами, решились бы запустить.

То есть ничего из принесенного мною он не мог напечатать – и просил впредь писать не иначе!!

Как раз это я легко ему мог обещать...

Тем более желая смягчить отказ, А. Т. стал говорить о мерах по печатанию «Ивана Денисовича» – пока ещё фантастических. И упнулся. Он действительно сам не знал: что предпринимать? с какой стороны? когда? Сказал мне примирительно:

– Ну, вы нас не торопите. Не спрашивайте, в каком номере будет.

Да я и не собирался. Обошлось без Лубянки – и спасибо. Проиграл я только то, что вообще рассекретился и теперь должен был с тройной осторожностью прятать свои готовые рукописи и текущую работу. Я ответил:

– Это в молодости важно – скорей увидеть себя в печати. А теперь уж у меня другое дыхание.

* * *

Так мы и расстались довольно надолго. Я не торопил Твардовского и в тот год не находил ничего неправильного в его медлительности. Да и с чем было эту медлительность сравнивать, какой единицей измерять? Разве в нашей литературе до того был подобный случай?

В пустой след упрекать легко. Когда куриное яйцо поставлено с малой смятинкой тыльца, то все видят, что оно может стоять. А до того оно у всех валялось. Кто из вельмож советской литературы до Твардовского или кроме Твардовского захотел бы и одерзвел бы такую разрушительную повестушку предложить наверх? В начале 1962 года совсем нельзя было догадаться: какими путями придумает он действовать? насколько всё это ему удастся?

Но миновали годы, мы знаем, что Твардовский напечатал рассказ с задержкой в 11 месяцев, и теперь легко его упрекнуть, что он не торопился, что он тянул. Когда мой рассказ только только пришёл в редакцию, Никита ещё рвал и метал против Сталина, он искал, каким ещё камнем бросить, – и так бы пришлось ему к руке свидетельство пострадавшего! Да если б сразу тогда, в инерции XXII съезда, напечатать «Ивана Денисовича», то ещё бы легче далось противосталинское улюлюканье вокруг него и, думаю, Никита в запальчивости охотно бы закатал в «Правду» и мои главы «Одна ночь Сталина» из «Круга первого». Такая правдинская публикация с тиражиком в 5 миллионов мне очень ясно, почти зрительно рисовалась, я её видел как въявь.

Однако не сам же бы я понёс и донёс рассказ Никите? Без содействия Твардовского никакой бы и XXII съезд не помог. Но вместе с тем как не сказать теперь, что упустили и мы золотую пору, приливную волну, которая перекинула бы наш бочонок куда-куда дальше за гряды сталинистских скал и только там бы раскрыла содержимое. Напечатай мы тогда, в 2–3 месяца после съезда, ещё и главы о Сталине – насколько бы непоправимей мы его обнажили, насколько бы затруднили позднейшую подрубянку. Литература могла ускорить историю. Но не ускорила.

Виктор Некрасов, нервничая, говорил мне в июле 1962:

– Я не понимаю, зачем такие сложные обходные пути? Он собирает какие-то отзывы, потом будет составлять письмо. Ведь ему же доступна трубка *того* телефона. Ну сними трубку и позвони прямо Никите!

Характер Твардовского действительно таков, что ему тошно напарываться на отказ в просьбах. Говорили, что он переносит с мучением, когда просят его походатайствовать о ком-нибудь, о чьей-нибудь квартире: а вдруг ему, депутату Верховного Совета и кандидату ЦК, откажут? – унижительно...

Можно понять, что он и рассказу боялся повредить слишком прямым и неподготовленным обращением к Хрущёву. Но думаю, что больше здесь была привычная осмотрительность того номенклатурного круга, в котором так долго он обращался: они не привыкли спешить ковать ускользающую историю – потому ли, что никуда она не уйдёт? потому ли, что не ими, собственно, куётся? А ещё была у Твардовского на несколько месяцев и некая насыщенность

своим открытием, рассказ довлел ему и ненапечатанный. Он, не торопясь, давал читать его Чуковскому, Маршаку – и не только, чтоб их именами подкрепить будущее движение рукописи, но чтоб отзывами этими и самому понаслаждаться, почитать их вслух и членам редакции и повезти хорошим знакомым (только мне не показал, боясь меня испортить). И Федину давал рукопись (тот никак не отнёсся), и не мешал дать прочесть Паустовскому и Эренбургу (недолюбивая, сам им не предложил). Он долго подгонял к повести предисловие. Так вёл он многомесячную неторопливую подготовку, ещё не определив, как же продвигаться *выше*. Просто отдать в набор и послать в цензуру виделось ему губительно (да губительно и было): цензура не только запретит, но немедленно донесёт в «отдел культуры» ЦК, и тот успеет с враждебными предупредительными шагами.

А месяцы шли – и остывал, и совсем уже миновал пыл XXII съезда. Непостоянный во всех своих начинаниях, а тем более в продолжениях, неустойчивый в настроении, Хрущёв должен был ещё и поддерживать Насера, и снабжать ракетами Кастро, и изобретать окончательный (уже самый наилучший) способ спасения и полного расцвета сельского хозяйства, да где-то же и космос подогнать, и лагерь укрепить, ослабшие после падения Берии.

И ещё одна, неожиданная для Твардовского, опасность была в этом методе прочтений, рекомендаций и планомерной подготовки: в наш машинописный и фотографический век быстро растекались копии рукописи. (Кажется, первичной виной всему были: тот же В. Некрасов взял по-дружески у Твардовского на одну ночь и отдал перефотографировать, да наш вскоре близкий друг Н. И. Стоярова, см. [Пятое Дополнение, очерк 9](#). Оба доброжелателя действовали естественно, а на самом деле губительно.) В сейфе «Нового мира» исходные экземпляры хранились под строгим учётом – а между тем уже десятки, если не сотни перепечатков и отпечатков расплозились по Москве, по Ленинграду, проникли в Киев, Одессу, Харьков, Нижний Новгород. Распространение подогревалось всеобщей уверенностью, что эту вещь никогда не напечатают. Твардовский сердился, искал «измену» в редакции, не понимая техники и темпов нашего века, не понимая, что сам же он, с этим сбором устных восторгов и письменных рецензий, был главный распространитель. Он всё мялся, не решался, месяцы шли – и вот narosla уже явная опасность, что рассказ утечёт на Запад, а там люди попроворнее, – и, напечатанный там, он никогда уже не будет напечатан у нас. (Логика, вполне понятная советскому человеку и совершенно непонятная западному. Ведь для нас мир – не мир, а постоянно воюющие «лагеря», мы так приучены.) Что уплыв на Запад не произошёл почти за год – чудо не меньшее, чем само напечатание в СССР. А не уплыло – по западному верхоглядству: кто из иностранцев и узнал о такой повестушке – не придал значения.

Пожалуй, эта опасность и заставила Твардовского поспешить. В июле он передал рукопись, окружённую букетом рекомендаций, эксперту Хрущёва по культуре Владимиру Семёновичу Лебедеву.

Между тем меня Твардовский ни разу не звал, и я лишь по рассказам Аси Берзер признавал, что там в редакции делается. Да начинал иногда знакомиться с людьми, уже читавшими мою повесть. После подпольной глухоты два десятка таких читателей создавали для меня ощущение толпы и бурной известности.

Я спешил подготовиться к новому опасному периоду жизни. Одно дело прятать рукописи, когда я песчинка среди других таких же; другое – когда я открылся, и Лубянка может проявить более настойчивую любознательность, чем «Новый мир», и прислать своих неторопливых лоботрясов – поискать, что ж у меня написано ещё. Стал я пересматривать свои похорошки – и показались они мне слишком простыми, вполне отгадными для этих взломщиков. И я сам теперь взламывал и уничтожал вторую крышку шкафа так, чтоб не было и следа; дожигал все лишние варианты и черновики. Остального решил дома не держать, и под Новый, 1962 год мы с женой повезли мой хранимый архив к её приятелю Теушу в Москву (через три с половиной года часть этого архива и будет захвачена опричниками). Этот переезд я особенно

запомнил потому, что в праздничной электричке какой-то ворвавшийся пьяный хулиган стал глумиться над пассажирами. И так получилось, что никто из мужчин не противодействовал ему: кто был стар, кто слишком осторожен. Естественно было вскочить мне – недалеко я сидел, и ряжка у меня была изрядная. Но стоял у наших ног заветный чемоданчик со всеми рукописями, и я не смел: после драки неизбежно было потянуться в милицию, хоть участником, хоть свидетелем, – обое рябое. Вполне была бы русская история, чтобы вот на таком хулигане оборвались бы мои хитрые нити. Итак, чтобы выполнить русский долг, надо было не русскую выдержку иметь. И я позорно, трусливо сидел, потупя глаза от женских упрёков, что мы – не мужчины.

Может быть, не в такой постыдной форме, но так же отяготительно сколько раз моя изнуряющая литературная конспирация лишала меня свободы поступков, свободы высказываний, свободы выпрямленной спины. Всех нас гнуло, но меня ещё этот подвальный огрузняющий этаж как пригибал, сколько души отбирал от литературы. Все кости ноют, все кости просят – разогнуться!! – и хоть умереть.

Отвёз я архив, но из январской встречи в «Новом мире» понял, что в печать, собственно, ничто не идёт. В новом уязвимом положении надо было и дальше, совмещая со школой, писать в урывки дней. Была у меня потребность ещё в одной, последней, редакции «Круга», и с января 1962 я рискнул. Четыре месяца, до конца апреля, ничем другим я не был занят, а в судьбе «Ивана Денисовича» только тем озабочен, чтоб лучше эти месяцы ничего не страгивалось, не менялось, пусть и не продвигается, – лишь бы спокойно мне кончить роман.

И молиться было не надобно: ничего с «Иваном Денисовичем» и не струнулось. На майские праздники я, ещё не следимый, благополучно отвёз экземпляр отпечатанного романа к Зубовым в Крым (куда они переехали после ссылки), и ещё набор тайных плотных отпечатков. Потом дома занимался разными доработками, и уж лето подошло, и надо было славно провести его в движении, а по пути развезти ещё копии микрофильмов на Каму (моему тюремному другу Н. А. Семёнову) и на Урал (лагерному другу, Ю. В. Карбе). Всё дело с «Новым миром» настолько казалось заглохшим (и к лучшему! – думал я, вернусь постепенно в безопасное состояние), что придумали мы с женой ехать на Енисей и на Байкал (был я в Сибири, но только в «вагон-заке» и только до Новосибирска). Так и вышло по пословице «бедному жениться...». Именно в Иркутске, не ближе никак, ожидала меня копия срочной телеграммы Твардовского, приглашающего «на короткое время» заехать в редакцию.

Ещё до того «короткого времени» езды от Иркутска было четверо суток.

Опять устроили всередакционное заседание. Неопределённо было мне объявлено, что в одной важной инстанции (это значило – В. С. Лебедевым) повесть моя одобрена. Но высказаны некоторые пожелания к её *улучшению*. Твардовский считал, что этих пожеланий совсем немного, и он бы очень просил меня выполнить их, не упустить появившейся возможности.

Он очень себя сдерживал, чтобы не ликовать слишком открыто. Детскость его проявлялась непогасимой радостью в глазах. Очень он был доволен своим удающимся многомесячным планом и только из редакционной церемонийности делал вид, что добавляет какие-то свои замечания, а иных от меня не хотел, лишь бы я принял лебедевские. Но так прямо он не говорил, а серьёзно вёл заседание и предлагал всем членам высказываться о необходимых исправлениях.

Говорили что-то, но ничего существенного, потому что не имели другого порыва, как согласиться с главным редактором, и не хотели даже иметь собственного мнения, от него отличного. (И это не Твардовский так сложил, это само так сложилось в журнале, естественно, по подобию всякой части своему целому, это сложилось как во всяком учреждении, во всяком звене советской системы.) Но Дементьев-то сидел здесь, и он-то видел, что лопается обруч, что выбивается крышка. Александр Григорьевич Дементьев, кто не заминался на должности парторга ленинградской писательской организации, а в хрущёвские времена стал комиссаром

самого либерального журнала, – кем-то же и зачем-то же был послан сюда? – долею освежиться, долею очиститься, – но и *не пицать* же! Перед теми, кем послан был он сюда на полставки, но с ответственностью двойной, не мог он теперь признать авторитет даже хрущёвского референта и поддаться благодушию всей редакции. Деловой человек, он не спорил тогда, в декабре 1961, когда все меня хвалили и ласкали: он-то знал, что рассказ этот всё равно будет зарублен. Но сейчас, когда искажённым, незаконным ходом событий прорисовалось рассказу вырваться в свет, – сейчас он должен был сделать всё, чтоб его *исправить*.

И куда же делось то лукаво-дружеское, то душевно-дружеское его выражение в приятном отклоне седеющей головы? И как ожестело его покоряюще-милое оканье! Как нарумянило его, как распалило, и до самых ушей! Одно только: он не вещал с Олимпа, а спорил, волнуясь, – волнуясь не выиграть, не убедить. Раскаты были только в самих формулировках – в коммунизме, в патриотизме, в материализме, в соцреализме. Воля бы Дементьева, он весь рассказ мой сострогал бы под гладь, не осталось бы ни задоринки. Но уж тут надо было бить по ядру. И обвинил он меня, что я позорю знамя и символ советского искусства – «Броненосец Потёмкин», и весь разговор о нём надо снять. А ещё надо снять разговор Шухова с Алёшкой о Боге – потому что он художественно совсем невыразительный, а идеологически неправильный, и длинный слишком, и только портит хорошую повесть. А ещё не должен автор уклоняться от политически точной оценки бандеровцев, даже в их лагерном существовании, ибо они запачканы кровью наших советских людей. А ещё... Да оказывается, он на машинописи сделал много пометок и может мне их конкретно показать, только машинопись ту забыл дома.

Распалённым яростным кабаном выглядел Дементьев к концу своего монолога, и положить бы сейчас перед ним полтора-два страниц той машинописи – он бы, кажется, клыками их разметал.

А Твардовский молчал. Ещё бы не верно! очень верно рассуждал политический комиссар, он хотел из моего аморфного рассказа выковать оружие соцреализма, – и что же мог возражать ему главный редактор? Он не мог ему возражать, но он почему-то *молчал*. Он не поддержал его ни кивком, ни бровью. И ожидаательно на меня смотрел. Если б я уступил, значит так бы и было.

Однако – перебрал Дементьев! При своём несомненном и быстром уме совсем он не знал породы зёков, племенного нашего закала. Выражайся он осторожно, требуя он маленьких, но гадких уступочек, достаточно портящих вещь, – я бы это всё записал, а потом вперемежку с требованиями хрущёвского эксперта обдумал и, наверно, что-нибудь бы испортил. Но перед напирющими обозлёнными глазами я ответил без колебания, без труда, совсем не задумываясь, насколько это выгодно. Перед моими зёками, перед моими братьями, перед экибастузской голодовкой, перед кенгирским мятежом мне стыдно и отвратно стало, что я ещё обсуждаю тут с ними что-то, что я серьёзно мог думать, будто литераторы с красными книжечками даже после XXII съезда способны напечатать слово правды.

– Десять лет я ждал, – ответил я освобождённо, – и могу ещё десять лет подождать. Я не тороплюсь. Моя жизнь от литературы не зависит. Верните мне рукопись, я уеду.

Тут вмешался переполошенный Твардовский:

– Да вы ничего *не должны!* Всё – на ваше доброе усмотрение, что сказано было сегодня. Но просто всем нам очень хочется, чтобы рукопись прошла.

И – не спорил больше Дементьев! Он стих. Он смяк. Он дошёл до того упора, где обрывалось его влияние на Главного. Дальше он не мог рисковать.

И тут же потребовалось мне ехать... именно к Дементьеву домой – забирать основной экземпляр. Как он переменился, как он стал дружественен! Да разве это он полчаса назад так разгорячённо шёл на меня, стуча копытами? Вдруг он предложил мне... свою квартиру для работы. Вдруг, совсем позабыв ту терминологию раскатистых *измов*, он какими-то смутными намёками стал искать у меня понимание. Э-э, не из куска чугуна был этот комиссар.

Он, кажется, был за перегородками многими, и за каждой следующей всё грустней. (Кстати, слышал я потом, что он происходил из богатой купеческой семьи; по возрасту должен был тот быт ещё захватить. Из опасений ли анкетных он так выпирал в ортодоксальность? Бывает. Ведь и Софронов, кажется. И несколько их, таких услужателей, в литературной верхушке.)

И остался я перед своим рассказом опять. Я-то знал, чего не знала редакция: что это совсем не истинный вариант, что здесь уже было и трогано, и стрижено, совсем это не целокупная недотрога. Где начато, можно и продолжать. Заряду хватит здесь и после отбавки. Но дурным казалось мне такое начало литературного пути: уступать, как и все они. Отчётливо помню, что *для себя* мне было в этот момент ничего бы лучше не исправлять, а – чёрт с ними, пусть не печатают. Однако глупо было бы не попробовать вовсе. Ослабленное на полпроцента, на три четверти процента (так по значению и объёму весило то, что решил я Лебедеву и «Новому миру» уступить), – как это всё-таки будет разить в напечатанном виде! Нет, попробовать стоило.

Если вникнуть, то требования Лебедева даже поражали своей незначительностью. Они ничего не трогали в рассказе главного. Самые отчаянные места, которые, сердце сжав, я, пожалуй бы, и уступил, были им обойдены, как будто не замечены. Да что ж это за таинственный либерал там, наверху, в первой близости к первому секретарю ЦК? Как он пробрался туда? Как держится? Какая у него программа? Ведь надо ему помочь!

Главное, чего требовал Лебедев, – убрать все те места, в которых кавторанг представлялся фигурой комической (по мерке Ивана Денисовича), как и был он задуман, и подчеркнуть партийность кавторанга (надо же иметь «положительного героя!»). Это казалось мне наименьшей из жертв. Убрал я комическое, осталось как будто «героическое», но «недостаточно раскрытое», как находили потом критики. Немного вздут оказывался теперь протест кавторанга на разводе (замысел был – что протест смешон), однако картины лагеря это, пожалуй, не нарушало. Потом надо было реже употреблять к конвойным слово «попки», снизил я с семи до трёх; пореже – «гад» и «гады» о начальстве (было у меня густовато); и чтоб хоть не автор, но кавторанг осудил бы бандеровцев (придал я такую фразу кавторангу, однако в отдельном издании потом выкинул: кавторангу она была естественна, но *их*-то слишком густо поносили и без того). Ещё – присочинить зекам какую-нибудь надежду на свободу (но этого я сделать не мог). И, самое смешное для меня, ненавистника Сталина, – хоть один раз требовалось назвать Сталина как виновника бедствий. (И действительно – он ни разу никем не был в рассказе упомянут! Это не случайно, конечно, у меня вышло: мне виделся советский режим, а не Сталин один.) Я сделал эту уступку: помянул «батьку усатого» один раз...

Внёс я исправления, уехал из Москвы, и снова начался для меня период полной затиши и темноты (ах, не дали Байкал досмотреть!). Снова всё пришло в неподвижное прежнее состояние, как будто движение рассказа никогда не начиналось, как будто это всё сон. Лишь в конце сентября, и то под большим секретом, от Аси Берзер, узнал я, как развивались дела. На даче в Пицунде Лебедев стал читать Хрущёву вслух (сам Никита вообще читать не любил, образование старался черпать из фильмов). Никита хорошо слушал эту забавную повесть, где нужно смеялся, где нужно ахал и кричал, а со середины потребовал позвать Микояна, слушать вместе. Всё было одобрено до конца, и особенно понравилась, конечно, сцена труда, «как Иван Денисович раствор бережёт» (это Хрущёв потом и на кремлёвской встрече говорил). Микоян Хрущёву не возразил, судьба рассказа в этом домашнем чтении и была решена. Однако Хрущёв хотел всё обставить демократично.

Недели через две, когда уже вернулся он из отпуска в Москву, получил «Новый мир» среди дня распоряжение из ЦК: к утру представить ни много ни мало – 23 экземпляра повести. А в редакции их было три. Напечатать на машинке? Невозможно успеть! Стало быть, надо пустить в набор. Заняли несколько наборных машин типографии «Известий», раздали наборщикам куски повести, и те набирали в полном недоумении. Так же по кускам и корректоры

«Нового мира» проверяли ночью, в отчаянии от необычных слов, необычной расстановки их и дивуясь содержанию. А потом переплётчик в предутреннюю вахту переплёл все 23 в синий картон «Нового мира», и утром, как если б это труда не составило никому никакого, 23 экземпляра было представлено в ЦК, а типографские наборы упрятаны в спецхранение, под замок. Хрущёв велел раздать экземпляры ведущим партвождям, а сам поехал налаживать сельское хозяйство Средней Азии.

Он вернулся недели через две под роковыми для себя звёздами середины октября. На очередном заседании политбюро (тогда – «президиума») стал Никита требовать от членов согласия на опубликование. Достоверно мне не известно, но кажется, всё-таки члены политбюро согласия не проявляли. Многие отмалчивались («Чего молчите?» – требовал Никита), кто-то осмелился спросить: «А на чью мельницу это будет воду лить?» Но был в то время Никита «я всех вас давишь!» по сказке, да не обошлось, наверно, и без похвал, как Иван Денисович честно кирпичи кладёт. И постановлено было – печатать «Ивана Денисовича». Во всяком случае, решительного голоса против не раздалось.

Так стряслось чудо советской цензуры или, как точней его назвали через три года, – «последствие волюнтаризма в области литературы».

20 октября, в субботу, Хрущёв принял Твардовского – объявить ему решение. Это была не знаю первая ли, но последняя их неторопливая беседа голова к голове. В сердце Твардовского, как, наверно, во всяком русском да и человеческом сердце, очень сильна жажда верить. Так когда-то, вопреки явной гибели крестьянства и страданиям собственной семьи, он отдался вере в Сталина, потом искренно оплакивал его смерть. Так же искренно он потом отшатнулся от разоблачённого Сталина и искал верить в новую очищенную правду и в нового человека, испускающего свет этой правды. Именно таким он увидел в эту двух-трёхчасовую встречу Хрущёва; через месяц, в пору нашей самой восприимчивой близости, А. Т. говорил мне: «Что это за душевный и умный человек! Какое счастье, что нас возглавляет такой человек!»

В то свидание с Твардовским Хрущёв был мягок, задумчив, даже философичен. Можно этому поверить. Уже кинжальным клином сошлись против него враждебные звёзды. Уже наверно имел он телеграмму от Громыки, что накануне в Белом Доме тот спрошен был: «Скажите честно, господин Громыко, держите вы ракеты на Кубе?» И, как всегда честно и уверенно, ответил Громыко: «Нет». Не знал, конечно, Хрущёв, мирно разговаривая с Твардовским о художественной литературе, что уже готовятся в Вашингтоне щиты с увеличенными фотоснимками советских ракет на Кубе, что в понедельник они будут предъявлены делегатам американских государств и Кеннеди получит согласие на свой безпримерно-смелый шаг: досматривать советские суда. Всего только одно воскресенье отделяло Хрущёва от его недели позора, страха и сдачи. И как раз в эту последнюю субботу довелось ему дать визу на «Ивана Денисовича».

«Я даже его перебивал! – вспоминал мне Твардовский, сам удивляясь. – Я сказал ему: от поцелуев дети не рождаются, отмените цензуру на художественную литературу! Ведь если ходят произведения в списках – хуже же нет!» И Никита примирительно выслушивал, он будто сам был близок к тому, как показалось Твардовскому. (Из сопоставления его пересказов в редакции можно допустить, что А. Т. невольно приписал молчащему Хрущёву свои собственные мысли.)

Хрущёв рассказал Твардовскому, что собрано уже три тома материалов о преступлениях Сталина, но пока не публикуются⁶. «История рассудит, что мы предприняли». (Никита всегда возвышался и смягчался, когда говорил о всеобщей смертности, об ограниченности человеческих сроков. Это звучало у него и в публичных речах. Это была у него неосознанная христи-

⁶ Ничего не доводил Хрущёв до конца, не довёл и низвержения Сталина. А немного б ему ещё – и ничьи б уже зубы не разомкнулись провякать о «великих заслугах» убийцы.

анская черта, – у него-то, худшего гонителя церкви со времён Ленина! Никто из коммунистических вождей, ни до ни после него, ни западнее ни восточнее его, никогда так не говорил. Никита был царь, совершенно не понимавший своей сущности, ни своего исторического назначения, подрывавший всегда те слои, которые хотели и могли его поддержать, никогда не искавший и не имевший ни одного умного советника. Проворный хваткий зять его Аджубей тоже был неумён, только авантюрист, ещё ускоривший падение тестя.) В убийстве Кирова Сталиным Хрущёв был уверен, но и понимал, что сам по себе Киров был личностью незначительной.

Кажется, всё было решено с повестью, и скомандовал Твардовский запускать её в 11-й номер. Но тут началась ракетная драма с Америкой. Могло и так, что от карибской бури завихрение по коридору ЦК смело бы мою повестушку.

Однако утихло! Перед ноябрьскими, как раз через год с тех пор, как я выпустил рассказ из рук, я был вызван на первую корректуру⁷. Пока я сидел над машинописными текстами – всё это был миф, не ощущалось нисколько. Но когда передо мной легли необрезанные журнальные страницы, я представил, как всплывает на свет к миллионам несведущих крокодиле чудище нашей лагерной жизни, – и в непривычной роскоши гостиничного номера я первый раз плакал сам над рассказом.

Тут передали мне просьбу Лебедева: ещё выпустить из рукописи слова Тюрина: «Перекрестился я и говорю: “Всё ж Ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьёшь”». Досмотрелись... Досмотрелись, но поздно, до этого главного места в повести, где я им опрокинул и вывернул всю легенду о гибели руководящих в 37-м году! Склоняли меня в редакции: ведь Лебедев так был сочувственен! ведь это он пробил и устроил! надо ему теперь уступить. И правильно, и я бы уступил, если б это – за свой счёт или за счёт литературный. Но тут предлагали уступить за счёт Бога и за счёт мужика, а этого я обещался никогда не делать. И всё ещё неизвестному мне мифическому благодетелю – отказал.

И такова была инерция уже сдвинутого и покотившегося камня, что сам советник Хрущёва ничего не мог исправить и остановить!

Это попробовал сделать Аджубей: не остановить качение, но хоть перенаправить. Может быть – под давлением ортодоксов-благочестивцев, которые хотели всё же по-своему в первый раз представить историю лагерей (себя – как главных страдальцев и главных героев); но скорее – мельче того: просто перехватить инициативу («вставить фитиля»), обскакать Твардовского уже после трудного пути и выхватить приз первым. На редакционном сборе «Известий» гневался Аджубей, что не его газета «открывает» важную тему. Кто-то вспомнил, что был такой рассказ из Читы, но «непроходимый», и его отвергли. Кинулись по корзинам – уничтожен рассказ. Запросили Г. Шелеста, и тот из Читы срочно по телефону передал свой «Самородок». В праздничном номере «Известий» его и напечатали, – напечатали с безстыжей «простотой», без всякого даже восклицательного знака, ну будто рассказы из лагерной жизни сорок лет уже печатаются в наших газетах и настряли всем. Твардовский очень тогда расстроился и обиделся на Аджубея. А я думаю – ничего им «Самородок» не дал: неотвратимо катился наш камень, и именно в *таком* виде суждено было русским читателям впервые увидеть контуры лагеря.

Уже осознав победу, Твардовский, как предусмотрительный наторелый редактор, заглядывал дальше, и в те же ноябрьские праздники прислал мне большое письмо:

«...Хотел бы Вам сказать по праву возраста и литературного опыта. Уже сейчас столько людей домогалось у нас в редакции Вашего адреса, столько интереса к Вам, подогретого порой

⁷ «Новый мир» изящно пошутил над цензурой: безо всякого объяснения послал им на визу первую вёрстку «Ивана Денисовича». А цензура в глуши своих застенков ничего и не знала о решении ЦК, ведь оно прошло келейно, как всё у нас. Получив повесть, цензура обалдела от этой «идеологической диверсии» и грозно позвонила в журнал: «*Кто* прислал эту рукопись?» – «Да мы тут», – невинно ответила зав. редакцией Н. П. Бианки. – «Но *кто* персонально одобрил?» – «Да всем нам понравилось», – щебетала Бианки. Угрозили что-то, положили трубку. Через полчаса позвонили весело: «Пришлите ещё пару экземпляров» (им тоже почитать хотелось). Хрущёв – Хрущёвым, а виза цензуры всё равно должна была на каждом листе стоять.

и внелитературными импульсами. А что будет, когда вещь появится в печати?.. Будет всё то, что называется славой... Речь я веду к тому, чтобы подчеркнуть мою надежду на Ваше спокойствие, выдержку, на высокое чувство собственного достоинства... Вы прошли многие испытания, и трудно мне представить в Вас нестойкость перед этим испытанием... наоборот, порой казалось, что не чрезмерна ли уже Ваша несуетность, почти безразличие... Мне, вместе с моими товарищами по редакции... пережившему настоящий праздник победы, торжества в день, когда я узнал, что “всё хорошо”, – мне показалась чуть-чуть огорчительной та сдержанность, с которой Вы отозвались на мою телеграмму-поздравление, то словечко “приятно”, которое в данном случае было, простите, просто обидным для меня... Но теперь я взываю как раз к Вашей сдержанности и несуетности – да укрепятся они и останутся неизменными спутниками Вашего дальнейшего труда... К Вам будут лезть с настырными просьбами “дать что-нибудь”, отрывок, кусочек, будут предлагать договоры, деньги... Умоляю – держитесь... не давайте в руки, ссылайтесь (мы имеем некоторое право надеяться на это) на обязательство перед “Новым миром”, который, де, забирает у Вас всё, что выйдет из-под Вашего пера».

У них был «праздник победы»! А я объяснил ему свою обстановку:

«Знаете ли Вы, с какими мыслями я вскрыл ваш конверт? Жена принесла и говорит встревоженно: “Толстое письмо из “Нового мира”. Почему такое толстое?” Я пощупал и сказал: “Совершенно ясно. Кто-то хочет от меня ещё уступок, а я их больше делать не могу. На этом печатание пока закончено...” Моя жизнь в Рязани идёт во всём настолько по-старому (в лагерной телогрейке иду с утра колоть дрова, потом готовлюсь к урокам, потом иду в школу, там меня корят за пропуск политзанятий или упущения во внеклассной работе), что московские разговоры и телеграммы кажутся чистым сном... Для меня из Вашей телеграммы только то и стало ясно, что *пока* запрета нет. Поэтому, дорогой А. Т., не оставляйте в сердце обиды на моё словечко “приятно”, я был бы неискренен, если бы выразился сильнее, никакой буйной радости я тогда не испытал. Вообще вся жизнь приучила меня гораздо больше к плохому, и в плохое я всегда верю легче, с готовностью. Я усвоил ещё в лагере русскую поговорку: “Счастью не верь, беды не пугайся”, прилачился жить по ней и надеюсь никогда с неё не сойти... Главную радость “признания” я пережил в декабре прошлого года, когда Вы оценили “Денисовича” безсонной ночью».

Но призыв его «держаться» и «в руки не даваться» ещё бы не нашёл у меня отзыва! меня эта роскошь гостиницы «Москва» в Охотном ряду, бархаты, ковры и услуги портье не радовали, а пугали. Первое ощущение славы – как будто язык твой перестал чувствовать вкус, а пальцы уже не осязают так тонко, как прежде. «Почему не едешь на такси?» – удивлялся Копелев. А мне сесть в такси казалось предательством, я понимал только – с рюкзаком в автобусе. И теперь уверенно отвечал Твардовскому: «Слава меня не словет... Но я предвижу кратковременность её течения – и мне хочется наиболее разумно использовать её для моих уже готовых вещей». (А и «Новый мир»-то ещё не знал их...)

Но Твардовский, после хрущёвской милости, вот этой-то кратковременности – никак не понимал.

Мы уже стали так теплы, хотя с глазу на глаз, без редакции, ещё и не встретились ни разу. Вскоре я был у него дома – и как раз курьер из редакции (потом – уличённый стукач) принёс нам сигнальный экземпляр 11-го номера. Мы обнялись. А. Т. радовался как мальчик, медвежьим телом своим порхая по комнате: «Птичка вылетела! Птичка вылетела!.. Теперь уж вряд ли задержат! Теперь уж – почти невозможно!» (Почти... И он тоже до последнего момента не был уверен. Да разве не случилось – уничтожали весь отпечатанный тираж? Труд ли, деньги ли нам дороги? Нам дорога идеология.) Я поздравлял: «Победа – больше ваша, чем моя».

«Шпарьте прямо ко мне!» – в таком необычном тоне заговорил он со мной по телефону в мой следующий приезд. Сразу после выхода тиража 11-го номера был пленум ЦК, кажется – о промышленности. Несколько тысяч журнальных книжек, предназначенных для московской

розницы, перебросили в ларьки, обслуживающие пленум. С трибуны пленума Хрущёв заявил, что это – важная и нужная книга (моей фамилии он не выговаривал и называл автора тоже Иваном Денисовичем). Он даже жаловался пленуму на своё политбюро: «Я их спрашиваю – будем печатать? А они молчат!..» И члены пленума «понесли с базара» книжного – две книжечки: красную (материалы пленума) и синюю (11-й номер «Нового мира»). Так, смеялся Твардовский, и несли каждый под мышкой – красную и синюю. А секретарь новосибирского обкома до заключительной речи Хрущёва сказал Твардовскому: «Ну, было и похуже... У меня в области и сейчас такие *хозяйства* есть, знаю. Но зачем об этом писать?» А после Никитиной речи искал Твардовского, чтобы пожать ему руку и замаять свои неправильные слова.

Такова была сила общего захвала, общего взлёта, что в тех же днях сказал мне Твардовский: теперь пускаем «Матрёну»! «Матрёну», от которой журнал в начале года отказался, которая «никогда не может быть напечатана», – теперь лёгкой рукой он отправлял в набор, даже позабыв о своём отказе тогда!

«Самый опасный – второй шаг! – предупреждал меня Твардовский. – Первую вещь, как говорят, и дурак напишет. А вот – вторую?..»

И с тревогой на меня посматривал. Под «второй» он имел в виду не «Матрёну», а – что я следующее напишу. Я же, переглядывая, что у меня написано, не мог найти, какую вытянуть наружу: все кусались.

К счастью, в этот именно месяц написалась у меня легко «Кочетовка»⁸ – прямо для журнала, первый раз в жизни. (Истинный случай 1941 года с моим приятелем Лёней Власовым, когда он комендантовал на ст. Кочетовка, с той же подробностью, что проезжий именно забыл, *из чего* Сталинград переименован, – и чему никто поверить не мог, начиная с А. Т. А., по-моему, для человека старой культуры очень естественно и не помнить такой новой прищлёпки.) А. Т. очень волновался, беря её, и ещё больше волновался, читая, – боялся промаха, боялся, как за себя. С появлением Тверитинова его опасения ещё усилились: решил он, что это будет патриотический детектив, что к концу поймают подлинного шпиона.

Убедясь, что не так, тут же послал мне радостную телеграмму. Над «Кречетовкой» и «Матрёной», которые по его замыслу должны были утвердить моё имя, он первый и последний раз не высказывал политических соображений «пройдёт – не пройдёт», а провёл со мной в сигаретном дыму честную редакторскую работу⁹. Его уроки (моей самоуверенности) оказались тонкими, особенно по деревенскому материалу: нельзя говорить «деревенские плотники», потому что в деревне – каждый плотник; не может быть «тёсовой драни»; если поросёнок жирный, то он не жадный; проходка в лес по ягоды, по грибы – не труд, а забава (впрочем, тут он уступил, что в современной деревне это уже – труд, ибо больше кормит, чем работа на колхозном поле); ещё – что у станции не может расти осинка, потому что там всё саженое, а её никто никогда не посадит; что «парнишка» старше «мальчишки». Ещё он очень настаивал, что деепричастия не свойственны народной речи, и поэтому нельзя такую фразу: «заболтав, замесив, да испеку». Но тут я не согласился: ведь наши пословицы иные так звучат.

Эти частые наши встречи осенью 1962 были как будто и непринуждённые, и очень теплые. В те месяцы не чаял А. Т. во мне души и успехами моими гордился как своими. Особенно ему нравилось, что я веду себя так, как он бы и замыслил для открытого им автора: выгоняю корреспондентов, не даю интервью, не даюсь фото- и киносъёмкам. У него было ощущение, что он меня сотворил, вылепил и теперь всегда будет назначать за меня лучшие решения и вести по сияющему пути. Он так подразумевал (хотя ни разу я ему этого не обещал), что впредь ни

⁸ Но пришлось сменить на «Кречетовка», чтоб не распалить вражды *кочетовского* «Октября» к «Новому миру».

⁹ Соображения «пройдёт – не пройдёт» настолько помрачали мозги членам редакции «Нового мира» (тем более – всех других советских журнальных редакций), что мало у них оставалось доглядчивости, вкуса, энергии делать веские художественные замечания. Во всяком случае, со мною, кроме вот этой единственной беседы А. Т., никто в «Новом мире» никогда не провёл ни пяти минут собственно редакторской, а не противо-цензурской работы.

одного важного шага я не буду делать без совета с ним и без его одобрения. Например, он сам взялся определить, какому фотографу я могу разрешить сфотографировать себя (фотограф оказался плох, но то, что мне нужно было – выражение замученное и печальное, мы изобразили). Подошла необходимость какой-то сжимок биографии всё-таки сообщить обо мне – А. Т. сам взял перо и стал эту биографию составлять. Я считал нужным указать в ней, за что я сидел, – за порицательные суждения о Сталине, но Твардовский резко воспротивился, просто не допустил. (Он не знал, как это ещё сможет пригодиться, когда партия на своих инструктажах объявит меня изменником родины. Его взгляд больше охватывал настоящее, а будущего – почти никогда. К тому ж, очень подслонны бывали истинные причины его внешних движений. Например, сам он долго верил в Сталина, и всякий *уже тогда* не веривший как бы оскорблял его сегодняшнего. Так он отклонил и моё объяснение, что Тверитинов может не любить Сталина из одной только тонкости вкуса. Как бы это мог тот *не любить?* – значит, либо сам сидел, либо его родственники, иначе А. Т. не принимал.)

Я не спешил бунтовать против его покровительства, не рвался доказывать, что к сорока четырём годам уж какой отлился, такой отлился. Но – не может быть подлинной дружбы без хотя бы признаваемого равенства. А. Т. преувеличивал соотношение наших кругозоров, целей и жизненного опыта. Важнейшей частью своего опыта он считал хорошее знание иерархии, ходов заседательских, телефонных и закулисных. Но он преувеличивал охватность и долготу всей этой системы. Он не допускал, что эту систему можно не принять с порога. Он не допускал, что в литературе или политике я могу разглядеть или знать такое, чего не видит или не знает он.

Со мной пережил он вспышку новой надежды, что вот нашёл себе друга. Но я не заблуждался в этом. Я полюбил и его мужицкий корень; и проступы его поэтической детскости, плохо защищённой вельможными навыками; и то особенное природное достоинство, которое проявлялось у него перед врагами, иногда – перед вышеставленными, и оберегало его от смешных или ничтожных положений. Но слишком несхожи были прошлое моё и его, и слишком разное мы вывели оттуда. Ни разу и никогда я не мог быть с ним так откровенен и прост, как с десятками людей, отемнённых лагерной сенью. Ещё характеры наши как-то могли бы обталкиваться, обтираться, приновляться, – но не бывает дружбы мужской без сходства представлений.

Мы подобны были двум математическим кривым со своими особыми уравнениями. В каких-то точках они могут сблизиться, сойтись, иметь даже общую касательную, общую производную, – но их исконная первообразность неминуемо и скоро разведёт их по разным путям.

На поверхности

Как глубоководная рыба, привыкшая к постоянному многоатмосферному внешнему давлению, всплыв на поверхность, гибнет от недостатка давления, оттого что слишком стало легко и она не может приспособиться, – так и я, пятнадцать лет благорассудно затаённый в глубинах лагеря, ссылки, подполья, никогда себя не открыв, никогда не допустив ни одной заметной ошибки в человеке или в деле, – выплыв на поверхность внезапной известности, чрезмерной многотрубной славы (у нас и ругать, и хвалить – всё через край), стал делать промах за промахом, совсем не понимая своего нового положения и новых возможностей.

Я не понимал степени своей приобретенной силы и, значит, степени дерзости, с которой могу теперь себя вести. Я сохранял инерцию осторожности, инерцию скрытности. И та и другая были нужны, это верно, потому что случайный прорыв с «Иваном Денисовичем» нисколько не примирил Систему со мной и не обещал лёгкого движения дальше.

Не обещал движения, да, – но пока, короткое время, два месяца, нет, месяц один, я мог идти безостановно: холопски-непомерная реклама открыла мне на этот месяц все редакции, все театры!

А я не понимал... Я спешил сам остановиться, прежде чем меня остановят, снова прикнуться, притвориться, что ничего у меня нет, ничего я не намерен. Как будто возврат этот был возможен! Как будто теперь упустили бы меня из виду!

И ещё, невольное торжество напечатания загоразивало, что мы с Твардовским не выиграли, а проиграли: потерял год, год разгона, данного XXII съездом, и подъехали мы уже на последнем доплеске последней волны. По скромным подсчётам я клал себе по крайней мере полгода, а то и два года, пока передо мной несомненно заколотят все лазы и ворота. А у меня был один месяц – от первой хвалебной рецензии 18 ноября до кремлёвской встречи 17 декабря. И даже ещё меньше – до первой контратаки 1 декабря (когда Хрущёва натравили в Манеже на художников-модернистов, а задумано это было расширительно). Но и за две недели я мог бы захватить несколько плацдармов! объявить несколько названий моих вещей.

А я ничего этого не сделал из-за ложной линии поведения. Я собирался «наиболее разумно использовать» кратковременный бег моей славы, но именно этого я не делал – и во многом из-за ложного чувства обязанности по отношению к «Новому миру» и Твардовскому.

Это надо верно объяснить. Конечно, я был обязан Твардовскому – но *лично*. Однако я не имел права считаться с личной точкой зрения и что обо мне подумают в «Новом мире», а лишь из того исходить постоянно, что я – не я, и моя литературная судьба – не моя, а всех тех миллионов, кто не доцарапал, не дошептал, не дохрипел своей тюремной судьбы, своих поздних лагерных открытий. Как Троя своим существованием всё-таки не обязана Шлиману, так и наша лагерная залегающая культура имеет свои заветы. Потому, вернувшись из мира, не возвращающего мертвецов, я не смел клясться в верности ни «Новому миру», ни Твардовскому, не смел принимать в расчёт, поверят ли они, что голова моя нисколько не вскружена славой, а это я плацдармы захватываю с холодным расчётом.

Хотя по сравнению с избыточной осторожностью новомирские оковы были на мне – вторичные, а всё ж заметно тянули и они.

У меня, как и предсказывал А. Т., просили «каких-нибудь отрывков» в литературные газеты, для исполнения по радио – и я должен был без промедления их давать! – из «Круга», уже готового, из готовых пьес – и так объявленными названиями остолблять участки, с которых потом нелегко меня будет сбить. В четырёхнедельной волне ошеломления, прокатившейся от взрыва рассказа, всё бы у меня прошло безпрепятственно – а я говорил: «нет, нет». Я мнил, что этим оберегаю своё написанное, ещё не вскрытое... И горд был, что так легко устаиваю против славы...

Ко мне ломились в рязанскую квартиру и в московские гостиничные номера корреспонденты, звонили из московских посольств в рязанскую школу, слали письменные запросы от агентств, даже с такими глупыми просьбами, как: оценить для западного читателя, насколько блестяще «разрешил» Хрущёв кубинский конфликт. Но никому из них я не сказал ни слова, хотя безпрепятственно мог говорить уже очень много, очень смело, и всё бы это обалдевшие корреспонденты разбросали по миру. Я боялся, что, начав отвечать западным корреспондентам, я и от советских получу вопросы, предопределяющие либо сразу бунт, либо унылую верноподданность. Не желая лгать и не осмелев бунтовать, я предпочёл – молчание.

В конце ноября, через десяток дней после появления рассказа, художественный совет «Современника», выслушав мою пьесу («Олень и шалашовка», тоже уже смягчённую из «Республики труда»), настойчиво просил разрешить им ставить *тотчас*, и труппа будет обедать и спать в театре, но за месяц берётся её поставить! И то было верное обещание, уж знаю этот театр. А я – отказал...

Да почему же?? Ну, во-первых, я почувствовал, что для выхода в публичность нужна ещё одна перепечатка пьесы, это – семь чистых дней, а при работе в школе и наплыве бездельно-восторженной переписки – как бы и не месяц. «Современник» шёл и на это, пусть я текст доизменяю на ходу, – так я не мог бросить школу! Да почему же? а: как же так вдруг стать свободным человеком? вдруг да не иметь повседневных тяготящих обязанностей? И ещё: как же ребяташек не довести до конца полугодия? кто ж им оценки поставит? А тут ещё, как назло, нагрянула в школу инспекторская комиссия именно на оставшийся месяц. Как же подвести директора, столько лет ко мне доброго, и ускользнуть? За неделю я мог дать «Современнику» текст, приготовленный к публичности; дважды в неделю мог выдавать по «облегчённому» отрывку из «Круга» и читать их по радио, и давать интервью, – а я возился в школьной лаборатории, готовил ничтожные физические демонстрации, составлял поурочные планы, проверял тетради. Я был червь на космической орбите...

Да и потом: а вдруг «люди с *верху*» увидят пьесу ещё до премьеры – и разгневаются? и не только пьесу прихлопнут, но и рассказы, которые вот-вот должны появиться в «Новом мире»? А тираж «Нового мира» – сто тысяч. А в зале «Современника» помещается только семьсот человек.

Да и опять же: ведь я обещал всякую первинку Твардовскому! Как же отдать пьесу в «Современник», пока её не посмотрит «Новый мир»? Итак, замедлив с боевым «Современником», я отдал пьесу в дремлющий журнал. Но там был кое-кто и не дремлющий, это Дементьев, и в саму редакцию пьеса не попала: она не вышла из двух квартир дома на Котельнической набережной, от двух Саш. Между ними и было решено, а мне объявлено Твардовским: «искусства не получилось», «это не драматургия», это «перепахивание того же лагерного материала, что и в “Иване Денисовиче”, ничего нового». (Ну как самому защищать свою вещь? Допускаю, что не драматургия (хотя очень живые характеры, сцены). Но уж и не перепахивание, потому что пахать как следует и не начинали! В пьесе не Особлаг, а ИТЛ; смесь полов, статей, господство блатных и их психологии; производственное надувательство. И немало юмора вокруг всего того.)

Ну, после «Ивана Денисовича» выглядит слабовато? Легко, что Твардовскому пьеса и не понравилась. Да если б дело кончилось тем, что «Новый мир» отклонял пьесу и предоставлял мне свободу с нею. Не тут-то было! Не так понимал Твардовский моё обещание и наше с ним сотрудничество ныне и присно и во веки веков. Ведь он меня в мои 43 года *открыл*, без него я как бы и не писатель вовсе, и цены своим произведениям не знаю (одно принёся, а десяток держа за спиной). И теперь о каждой вещи будет суд Твардовского (и Дементьева): то ли эту вещь печатать в «Новом мире», то ли спрятать и никому не показывать. Третьего не дано.

Именно так и было присуждено об «Олене и шалашовке»: не давать, не показывать. «Я предупреждаю вас против театральных гангстеров!» – очень серьёзно внушал мне А. Т. Так

говорил редактор самого либерального в стране журнала о самом молодом и смелом театре в стране! Откуда эта уверенность суждения? Был ли он на многих спектаклях «Современника»? Ни одного не видел, порога их не переступал (чтобы не унизиться). Высокое положение вынуждало его получать информацию из вторых (и нечистых) рук. Где-нибудь в барвихском правительственном санатории, где-нибудь на кремлёвском банкете, да ещё от нескольких услужливых лиц в редакции услышал он, что театр этот – дерзкий, подрывной, безпартийный, – и значит, «гангстеры»...

Всего две недели, как я был напечатан, ещё не кончился месяц мёда с Твардовским, – я не считал достойным и полезным взбунтоваться открыто, и так я попал в положение упрашивающего – о собственных вещах упрашивающего кому-то показать, а Твардовский упирался, не советовал, возражал, наконец уже и раздражался моей ослушностью. Едва-едва он *дал согласие*, чтобы я показал пьесу театру... только не «Современнику», а мёртвому театру Завадского (лишь потому, что тот поставил «Тёркина»). Позднее согласие! Я остался связан с «Современником». Однако задержал пьесу на месяц – неповторимый месяц! – ждал, чтобы цензура подписала «Матрёну» и «Кречетовку». После этого я полностью отдал пьесу «Современнику» – да упущено было время: уже сказывалось давление на театры после декабрьской кремлёвской встречи. «Современник» не решился приступить даже к репетициям, и пьеса завязла на многие годы. Твардовский же с опозданием узнал о моём своеволии – и обиделся занозчиво, и в последующие годы не раз меня попрекал: как же мог я обратиться в «Современник», если он просил меня не делать этого?

Впрочем же, и без Твардовского: вскоре приехала ко мне представительница «Ленфильма» с четырьмя экземплярами договора на «Кречетовку», уже подписанного со стороны «Ленфильма», мне оставалось только поставить подпись и получить небывалые для меня деньги – и «Кречетовка» появится на советских экранах. Я – сразу же отказался: отдать им права, а они испортят, покажут нечто осовеченное, фальшивое? – а я не смогу исправить...

А. Т. в письме назвал меня «самым дорогим в литературе человеком» для себя, и он от чистого сердца меня любил безкорыстно, но тиранически: как любит скульптор своё изделие, а то и как сюзерен своего лучшего вассала. Уж конечно не приходило ему в голову поинтересоваться: а у *меня* не будет ли какого мнения, совета, предложения – по журнальным или собственным его делам? Ему не приходило в голову, что мой внелитературный жизненный опыт может выдвинуть свежий угол зрения.

Даже в темпах бытового поведения мы ощущали разность. Теперь, после нашей великой победы, отчего было не посидеть за большим редакционным столом, попить чайку с булбочками, покалякать то о важном, то о пустячном? «Все писатели так делают, например Симонов, – шутливо внушал мне А. Т., – прилично сядут, неторопливо покурят. Куда вы всё торопитесь?» А я туда торопился, что на пятом десятке лет ещё слишком много ненаписанного разрывало меня, и слишком стойко стояли глиняные, однако и железобетонные, ноги Неправды. И цвела лопухами враньева литература¹⁰.

¹⁰ Да куда совсем не поспевали ни мои заботы, ни тем более Твардовского, а где очень надо было бы обернуться-позаботиться: что делается сейчас с переводами «Ивана Денисовича» на языки? Ужасности этого – что рассказ мой зарубливают на 25 и на 40 лет вперёд, – я совершенно не представлял. При том, что СССР – не член международных соглашений об авторском праве, рассказ был открыт на расхват кому угодно. А тут такая политическая сенсация! Только на одном английском языке взялись издавать 6 издательств, не считал на других. И все же – наперегонки, кто раньше, переводчики – самые случайные, только бы скорей! – а перевод-то наисложнейший. Даже группа Хингли и Хэйворда, самая солидная, перевела неудачно, – что ж говорить о других! Серый малограмотный поток с политическим шибаньем в нос. Погасли все краски, все языковые пласты, все тонкости, а уж намёки на брань переводились самыми последними отъявленными ругательствами, полным текстом. – *Примеч. 1978.* В 1981 в штатах Массачусетс и Вермонт книгу изымали из школьных библиотек за эти грубые ругательства (хотя нынешние американские школьники ругаются грязнее наших эзков) – и я получал негодующие письма от родителей: как можно такую мерзость печатать! – *Примеч. 1986.*

Первую рецензию обо мне – большую симоновскую в «Известиях», А. Т. положил передо мной с торжеством (она только что вышла, я не видел), а мне с первых абзацев показалось скучно-казённо, я отложил её не читая и просил продолжать редакторский разговор о «Кречетовке». А. Т. был просто возмущён, то ли счёл за манерность. Он не видел, какой длинный-длинный-грозный путь был впереди и какие тараканы силёнки у всех этих непрошенных рецензий.

Тем более расходились наши представления о том, что надо сейчас в литературе и каким должен быть «Новый мир». Сам А. Т. считал его предельно смелым и прогрессивным – по большому успеху журнала у отечественной интеллигенции, по вниманию западной прессы.

Это было так, да. Но приверженцы «Нового мира» не могли иметь первым масштабом иной, как сравнение с бездарной вереницей прочих наших журналов – мутных, даже рвотных по содержанию и дохлых по своей художественной нетребовательности. (Если в тех журналах – я обхожу «Юность» – и появлялось что-либо интересное «для заманки», то либо спекуляция на именах умерших писателей, такими же шавками затравленных, чем прослыла «Москва», либо статьи, далёкие от литературы.) Прирождённое достоинство и благородство, не изменявшие Твардовскому даже в моменты самых обидных его ослеплений, помогали ему не допускать в журнал прямой пошлости (вернее, она текла и сюда, особенно в мемуарах чиновных людей вроде Конева, Емельянова, но всё же сдержанным потоком), а сохранять равновесный тон просвещённого журнала, как бы возвышенного над временем. В первой половине журнальной книжки бывало и пустое, и ничтожное, но во второй, в публицистике, критике и библиографии, всегда была обстоятельность, содержание, всегда много интересного.

Однако существовал и другой масштаб: каким этот журнал *должен был бы* стать, чтобы в нём литература наша поднялась с колен. Для этого «Новый мир» должен был бы по всем разделам печатать материалы следующих классов смелости, чем он печатал. Для этого каждый номер его должен был формироваться независимо от сегодняшнего настроения *верхов*, от колебаний страхов и слухов, – не в пределах разрешённого вчера, а каждым номером хоть где-то раздвигая пределы. Конечно, для этого частенько бы пришлось и лбом о стенку стучать с разгону.

Мне возразят, что это – бред и блажь, что *такой* журнал не просуществовал бы у нас и года. Мне укажут, что «Новый мир» не пропускал ни пол-абзаца протащить там, где это было возможно. Что как бы обтекаемо, иносказательно и сдержанно ни выражался журнал – он искупал это своим тиражом и известностью, он неутомимо расшатывал камни дряхлеющей стены. Столкнуться же разик до треска и краха и потом совсем прекратить журнальную жизнь редакция не может: журнал, как и театр, как киностудия, – своего рода промышленность, это не воля свободного одиночки. Они связаны с постоянным трудом многих людей, и в эпоху гонений им не избежать лавировать.

Наверно, в этом возражении больше правды, чем у меня. Но я всё равно не могу отойти от ощущения, что «Новый мир» далеко не делал высшего из возможного, – ну хотя бы первые после XXII съезда, неповторимо-свободные месяцы – как использовал «Новый мир»? А сколько номеров «Нового мира» еле-еле выбарахтывались на нейтралке? Сколько было таких, где на две-три стоящих публикации остальное была несъедобщина и серятина, так что соотношение страниц тех и этих давало к.п.д. ниже, чем у самого никудышного теплового двигателя?

Год за годом свободолюбие нашего либерального журнала выросло не так из свободолюбия редакционной коллегии, как из подпора свободолюбивых рукописей, рвавшихся в единственный этот журнал. Этот подпор был так велик, что сколько ни отбрасывай и ни калечь цензура – в оставшемся всё равно было много ценного. Внутри либерального журнала каменела своя иерархия, не всё и докладывалось Главному, а неприличное так же успешно (но более дружественно) задушивалось на входе, как и в «Москве» или «Знамени». Об этих отвергнутых

смелых рукописях Твардовский даже и не узнавал ничего, кроме искажённого наслуха. Он так мне об этом сказал:

– В «Новый мир» подсылают литераторов-провокаторов с антисоветчинкой: ведь вы, мол, единственный свободный журнал, где же печататься?

И заслугу своей редакции он видел в том, что «провокации» вовремя разгадывались и отвергались. Конечно, могли соваться и совсем безответственные, но – «провокации» эти и была свобода.

Я всё это пишу для общей истины, а не о себе вовсе (со мной наоборот – Твардовский брался и через силу продвигать безнадёжное). Я это пишу о десятках произведений, которые гораздо ближе подходили к норме легальности и для которых «Новый мир» мог сделать больше, если б окружение Твардовского не так судорожно держалось за подлокотники, если б не сковывал их постоянный нудный страх: «*как раз сейчас* такой неудобный момент», «такой момент *сейчас*...». А этот *момент* – уже полвека.

Я как-то спросил А. Т., могу ли я, печась о журнале, рекомендовать ему вещи, которые мне особенно нравятся. А. Т. очень приветливо пригласил меня это делать. Два раза я воспользовался полученным правом – и не только неудачно, но отягощающе для моих отношений с журналом.

Первый раз – ещё в медовый наш месяц, в декабре 1962. Я убедил В. Т. Шаламова подобрать те стихи «Из колымских тетрадей» и «Маленькие поэмы», которые казались мне безусловными, и передал их А. Т. через секретаря в закрытом пакете.

Во главе «Нового мира» стоял поэт – а отдел поэзии журнала был скуден, не открыл видного поэтического имени, порой открывал имена не крупные, быстро забываемые. Много внимания уделяя дипломатическому «национальному этикету», печатая переводные стихи поэтов союзных республик¹¹ или 2–3 маленьких стихотворения какого-нибудь уже известного поэта, он не давал сплотки стихов, которая составила бы направление мысли или формы. Стихотворные публикации «Нового мира» не бывали художественным событием.

В подборке Шаламова были из «Маленьких поэм» – «Гомер» и «Аввакум в Пустозерске», да около 20 стихов, среди которых «В часы ночные, ледяные», «Как Архимед», «Похороны». Для меня, конечно, и фигура самого Шаламова и стихи его не укладывались в область «просто поэзии», – они были из горячей памяти и сердечной боли; это был мой неизвестный и далёкий брат по лагерю; эти стихи он писал, как и я, еле таская ноги, и наизусть, пуце всего таясь от обысков. Из тотального уничтожения всего пишущего в лагерях только и выползло нас меньше пятка.

Я не считаю себя судьёй в поэзии. Напротив, признаю за Твардовским тонкий поэтический вкус. Допустим, я грубо ошибся, – но при серости поэтического отдела «Нового мира» так ли нетерпимо отвергать? К тому времени, когда смогут быть опубликованы эти мои очерки, читатель уже прочтёт и запрещённые стихи Шаламова. Он оценит их мужественную интонацию, их кровотечение, недоступное опытам молоденьких поэтов, и сам произведёт суждение, достойны ли они были того, как распорядился Твардовский.

Мне он сказал, что ему не нравятся не только сами стихи, «слишком пастернаковские», но даже та подробность, что он вскрывал конверт, надеясь иметь что-то свежее от меня. Шаламову же написал, что стихи «Из колымских тетрадей» ему не нравятся решительно, это – не та поэзия, которая могла бы тронуть сердце нашего читателя.

Стал я объяснять Твардовскому, что это – не «интрига» Шаламова, что я *сам* предложил ему сделать подборку и передать через меня, – нисколько не поверил Твардовский! Он уди-

¹¹ Есть литература каждого отдельного народа и есть литература мировая (огигающая по вершинам). Но не может быть никакой промежуточной «многонациональной» литературы (пропорциональной, вроде Совета Национальностей). Это дутое представление, наряду с соцреализмом, тоже помешало развитию нашей литературы в истекшие десятилетия.

вительно бывал невосприимчив к простым объяснениям. Так и осталась у него уверенность в кознях Шаламова, играющего мной.

Второй раз (уже осенью 1964) мне досталось напористо побуждать редколлегию напечатать «Очерки по истории генетики» Ж. Медведева. В них было популярное изложение неизвестной народу сути генетической дискуссии, но ещё больше там был – накал и клич против несправедливости на материале вполне уже легальном, а между тем клич этот разбуживал общественное сердцебиение. И книга эта, что называется, «единодушно нравилась» редакции (ну, Дементьев-то был против), и на заседании редакции Твардовский просил меня прекратить поток аргументов, потому что «уже убеждены» все. И только «о небольших сокращениях» они просили автора; а потом о больших; а потом «потерпеть несколько месяцев», – да так и заколодило. Потому что эта книга «выдавала» свободу мысли ещё не разрешённой порцией.

Непростительным же считал Твардовский и что с «Оленем и шалашовкой» я посмел обратиться к «Современнику». Он много раз без необходимости возвращался к этому случаю и уже не просто порицал пьесу, не просто говорил о ней недоброжелательно, но *предсказывал*, что пьеса не увидит света, то есть выражал веру в защитную прочность цензурных надолб. Более того, он сказал мне (16 февраля 1963, через три месяца от кульминации нашего сотрудничества!):

– Я не то чтобы запретил вашу пьесу, если б это от меня зависело... Я бы написал против неё статью... *Да даже бы и запретил.*

Когда он говорил недобрые фразы, его глаза холодели, даже белели, и это было совсем новое лицо, уже нисколько не детское. (А ведь для чего запретить? – чтоб моё имя побережь, побуждения добрые...)

Я напомнил:

– Но ведь вы же сами советовали Никите Сергеевичу отменить цензуру на художественные произведения?

Ничего не ответил. Но и душой не согласился, нет, внутренне у него это как-то увязывалось.

Такие ответы Твардовского перерубали нашу дружбу на самом первом взросте.

Твардовский не только грозился помешать движению пьесы, он и действительно помешал. В тех же числах, в начале марта 1963, ища путей для разрешения пьесы, я сам переслал её В. С. Лебедеву, благодетелю «Ивана Денисовича». «А читал ли Твардовский? Что он сказал?» – был первый вопрос Лебедева теперь. Я ответил (смягчённо). Они ещё снеслись. 21 марта Лебедев мне уверенно отказал:

«По моему глубокому убеждению пьеса в её теперешнем виде для постановки в театре не подходит. Деятели театра “Современник” (не хочу их ни в чём упрекать или обвинять) хотят поставить эту пьесу для того, чтобы привлечь к себе публику – (а какой театр хочет иного?) – и вашим именем и темой, которая безусловно зазвучит с театральных подмостков. И я не сомневаюсь в том, что зрители в театр будут, что называется, “ломиться”, желая познаться... какие явления происходили в лагерях. Однако... в конце концов театр вынужден будет отказаться от постановки этой пьесы, так как в театр тучами полетят “огромные жирные мухи”, о которых говорил в своей недавней речи Н. С. Хрущёв. Этими мухами будут корреспонденты зарубежных газет и телеграфных агентств, всевозможные нашенские обыватели и прочие подобные люди».

Обыватели и «прочие подобные люди»! То есть попросту – народ? Театр «сам откажется»? Да, когда ему из ЦК позвонят... Вот – и эпоха, и театральные задачи, и государственный деятель!

Отношения Твардовского с Лебедевым не были просто отношениями зависимого редактора и притронного референта. Они оба, кажется, называли эти отношения дружбой, и для Лебедева была лестна дружба с *первым поэтом* страны (по табели рангов это было с какого-

то года официально признано). Он дорожил его (потом и моими) автографами (при большой аккуратности, думаю, и папочку особую имел). Когда Твардовский принёс Лебедеву «Ивана Денисовича», обложенного рекомендациями седовласых писателей, Лебедеву дорого было и себя выказать ценителем, что он прекрасно разбирается в качествах вещи и не покусится трогать её нежную ткань грубой подгонкой.

Откуда он взялся в окружении Хрущёва и чем он занимался раньше? – я так и не узнал. По профессии этот таинственный верховный либерал считал себя журналистом. Может быть, руководило им личное соперничество с Ильичёвым, которого обскакать он мог только на либеральной лошадке?.. Познакомились мы на первой «кремлёвской встрече руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией» – 17 декабря 1962.

Вызов на первую встречу настиг меня распыхом: в субботу вечером пришло в школу распоряжение из обкома партии, что в понедельник я вызываюсь в ЦК к товарищу Поликарпову (главный душитель литературы и искусства), а повезёт меня туда в 6 утра обкомовская машина. По своему подпольному настрою я вдался в мрачные предположения. Я решил, что Поликарпов, не сумев задержать вещь, теперь будет меня хоть в партию вгонять: не может же среди них толкаться чужеродный, надо его повязать той же клятвой. Я готовился к разговору, как к большой беде, так я и знал, что напечатание к добру не поведёт. В партию я конечно не пойду, но аргументы выглядят шатко. И я нарочно поехал в своём школьном костюме, купленном в «Рабочей одежде», в чиненых-перечиненых ботинках с латками из красной кожи по чёрной, и сильно нестриженным. Так легче было мне отпираться и придуряться: мол, зэки мы, и много с нас не возьмёте. Таким-то зачуханным провинциалом я привезен был во мраморно-шёлковый Дворец Встреч.

И вот тут-то в одном из перерывов как бы случайно (а на деле – нарочком) мимо нашего с Твардовским дальнего конца стола стали проходить то краснолицый надменный Аджубей, зять Хрущёва, то ничтожный вкрадчивый Сатюков (редактор «Правды»), то невысокий, очень интеллигентный, простой и во взгляде и в обращении человек, с которым Твардовский поспешил меня познакомить. Это и был Лебедев. Меня поразила непохожесть на партийных деятелей, его безусловная тихая интеллигентность (он был в безобразных очках, только стёкла и поблескивали, оставалось впечатление, как от пенсне). Может быть, потому, что он был – главный благодетель и смотрел ласково, я его и охватил таким. Разговора содержательного не было, он заверил меня, что я «теперь на такой орбите, с которой не сбить» меня. Спросил, не намерен ли я сегодня выступить. Нет, конечно, мне даже дико показалось (о чём бы я мог перед этой публикой?!). Он, кажется, и доволен, что я не выступлю. Похвалил, что я интервью не даю (знал бы он, что не вернопопданность за этим, а не хочу ни в чём приоткрыться), и просил «Ивана Денисовича» с автографом. Это был просто от неба приставленный к безпутному Хрущёву ангел чеховского типа. (Объяснил, почему так экстренно меня вызвали: «Про вас в ЦК забыли». Да охотней зубами бы растёрли.)

(ДОБАВЛЕНИЕ 1978 г.): Об этих встречах в печати почти никто не рассказал, я не встречал. Да большинство участников всё ещё в той же сфере и остались, и под той же пятой, для кого и сладостной, – им и не рассказать, и незачем. И конечно, с отдалением нашим от тех дней всё ничтожней и само событие и участники его. Уже сейчас не все имена запомнены, а следующему поколению они будут и в дичь. Но в дичь будет когда-нибудь и всё наше рабство, – и как его потом вообразить? У меня сохранились записи – самих совещаний, прямо там и сделанные, на коленях, и в те же вечера ещё добавленные посвежу. Всё в подробностях не буду, но даже глоток того воздуха вырвать из тех залов и дать подышать опоздавшим – может быть, стоит.

Идея «встречи руководителей партии и правительства с деятелями культуры и искусства» – не была нова: по каким-то поводам и Сталин встречался, изрекал для направления несмышлёнышей, да и Хрущёв летом 1957 принимал у себя на подмосковной даче избран-

ную группу литераторов и внушал, как не надо расшатывать основы, эту встречу воспела Алигер – то ли в стихах, то ли в воспоминаниях. Что руководители правительства покидают государственные дела и занимаются выправлением искусства – для тоталитарного государства нисколько не диво, оно только тогда и тоталитарно, тогда и держится, если не упускает ни единого живого места, так что живопись, музыка, а тем более литература для них так же важны, как и своевременное вооружение. А самих «деятелей искусства» эти встречи не только не удивляли – но были искренним праздником для большинства и предметом жестокого соревнования: как попасть в число приглашённых? Почти все приглашённые были тем самым уже награждены: ЦК относит их к «ведущим», а значит, им обеспечены впредь тиражи, выставки, спектакли. В то утро помню разговор в отделе культуры ЦК при мне, что Исаковский, впервые обойденный, слёзно вымаливал себе приглашение: впервые ему не оказалось места в важном собрании, и значит, он перестал быть ведущим, и карьера его как бы заканчивалась. А приглашённых в тот раз было немало – 300 человек, но вместе с нацреспубликами, которые летели и ехали в Москву, за несколько дней предупреждённые, – сам же отбор производился в ЦК, конечно переэкзаменовались с ЦК нацкомпартий и с руководством творческих союзов, и много тут сталкивалось желаний, обид, личных протекций и партийных ошибок. А помимо «ведущих» вызывались и те, кого надо было осадить, призвать к порядку (в тот раз такой был Эрнст Неизвестный, а Евтушенко – и такой, но и ведущий, уже он пробил себе дорогу).

Эта встреча 17 декабря произошла через месяц без дня от публикации «Ивана Денисовича» 18 ноября – и события были связаны. Всем благоразумным коммунистам показал «Иван Денисович», что дальше им отступать нельзя, что этак развалится и государство и партия. Сталин, сколько ни проявлял как будто своих личных прихотей, а на самом деле никогда не вымётывал из партийной колеи: даже уничтожая ленинскую партию, он был не против партии, а с ней, – он катил инерционно-косно, ленинским путём. А Хрущёв, никогда не уничтожая и внешне блюдя партийную линию (он мышлением куда ближе был к 20-м годам, чего стоит его лютая ненависть к церкви), – то и дело по характеру и сердцу выпрыгивал в стороны неожиданно, как не может себе позволить равномерная тоталитарность. Из таких разрушительных явных выпрыгов было разделение партии на промышленную и сельскохозяйственную, но и послабление в литературе было для коммунистов предусмотрительных достаточно грозно: ведь если позволить печатно обсуждать ГУЛАГ, то что ж останется от системы? Итак, после прорыва «Ивана Денисовича» надо было срочно образумить Хрущёва и втянуть его обратно в колею. Кто из ЦК руководил этим поворотом – достоверно не известно, но очень можно подозревать Сулова. (В противоречие с этим, единственный из вождей, кто в перерыве подошёл ко мне знакомиться, – был Сулов же. Но может быть, тут противоречия и нет: он присматривался, как и меня захватить в их колею?) Разработано было недурно: если бы вразумление делали против Хрущёва, а он бы выбрыкивался, – развалил бы он всё, ничего бы не получилось. Прямо на рожон лезть и убеждать Хрущёва, что «Иван Денисович» был ошибкой, – никак было невозможно. Но придумали, как против Хрущёва пустить самого же Хрущёва! – этим обеспечены были натиск и энергия обратного поворота. Уже 1 декабря подстроили в Манеже выставку художников недопускаемых направлений (в том числе и работы 20-х годов!) – и дружески повели Хрущёва показывать, до чего вольность искусства доводит. Хрущёв, конечно, в простоте рассвирепел – и тут же его уговорили на образумление деятелей искусства, хоть завтра, оставалось дело за организацией. Рассчитывали правильно, что инерция общего поворота потом захлестнёт и лагерную литературу. Но я попадал на эту встречу пока – не главным виновником, а главным именинником.

Близ 10 утра подкатали меня к зданию самого ЦК на Старой площади, о котором раньше лишь понаслышке я ведал, сюда и не забраживал, это – особенно чистое место, машины стоят только большие чёрные, охраняемые, а пешеходы, случайно попавшие на этот кусок тротуара, – скромно, строго, быстро мимо, чтобы глазами своими преступными чего непозволительного

не выказать охране да не быть захваченным. А я вот – вхожу даже, сказываюсь в окошко, – там звонят и сразу дают мне пропуск, и я подымаюсь мимо стражи по пустой лестнице, не смея на лифт, дальше по обширным пустым коридорам – а на дверях одни фамилии, без чинов и должностей (между своими все всё понимают, а чужим и не надо).

К облегчению, сам Поликарпов видеть меня не пожелал (мерзко, наверно, ему было, и правильно сердце его чувствовало), зато отдел принял меня восхитительно-заботливо (да они всю жизнь, наверно, сочувствовали лагерной литературе! зря я сюда ещё раньше повесть не принёс?), сразу разъяснилось, что вызван я всего лишь на торжество, а младшие сотрудники аппарата спешили в дверь заглянуть, на меня посмотреть. Дали мне кусок изукрашенного картонка – это и был пропуск на сегодня в Кремлёвский дворец приёмов, любопытный: цвет, литер, номер – что-то значат, а не известно что, ни даты, ни места приглашения, и если вот на улице найдёшь, оброненный, то никогда не догадаешься, что это – пропуск, и куда. А сперва – в гостиницу «Москва» (автомобилем, разумеется), – ту самую, как бастион на центральной московской площади, – и мимо неё, раздавленный величием, я сколько мимо прохаживал, тут в 1945 шёл с тремя конвоирами сдавать себя на Лубянку, тут после 1956 протаскивал сумки тяжёлые с московской провизией – скорей в метро да на Казанский вокзал. И вот – внутрь, да направленный не к безнадёжному барьеру вестибюля, где номеров никогда никому нет, кроме иностранцев, но в рядовую, как бы жилую комнату, а там-то, для знающих, и распределяют все места. И едва овладел я своим невиданным пышным номером – как уже новая большая чёрная машина ждёт внизу – нас, нескольких почётных; рядом со мной – холёный мужчина в годах, изволит знакомиться, оказывается – Соловьёв-Седой, сколько его надоевшие песни нам на шарашке в уши лезли из приёмников – думал ли я когда, что нас сведёт? Однако, кажется, весь сон мой – не на один день, а мне теперь среди них – жить и обращаться, и надо как-то привыкать. Тем временем широченная машина вносит нас виадуком Комсомольского проспекта – да на Воробьёвы горы. Сколько меня в жизни давило это Государство, как оно было всегда безжалостно, неприступно, неуговорчиво, и большинство людей в этом верном впечатлении так и проживут всю жизнь, – а вот, оказывается, у этой мощи есть и оборот: она вовсе не давит насмерть, не закрыта вся железными створками, но распахнута бархатно, но несёт такими уверенными крылами, как, может быть, ни одна сила в мире носить не умеет. Эй, берегись, старый зэк, это всё не к добру!

Сперва обширный каменный забор на высоком взлёте (да не здесь ли Герцен с Огарёвым клялись о свободе?), у ворот – проверка машин часовыми, тогда уже въезд (а кто на случайных машинах приехал – тот через двор пешком, даже и Федина так узнаю; а мы – к самому входу). В раздевалке ливрейные молодцы приняли моё тёртое, унылое, длинное провинциальное пальто, как будто и не удивясь. А дальше – залы крупного паркета, да, кажется, день же сегодня будний или вообще не день? задёрнуты все великолепные оконные белоснежные занавесы, льётся белизна от ламп дневного света, да и то скрытых. Где-то там тужатся по стране – трудовые вахты, шахты, виснут трудящиеся на ступеньках автобусов, ухающих через грязные колдобины, – здесь переполнены залы разодетой праздной публикой, все мужчины – в остроносых лакированных ботинках, в каких и по уличному снежному месиву не пройдёшь, – и все друг ко другу так и спешат – здороваться, наговариваться, шутить, все друг друга знают в лицо, кроме некоторых нацменов. Есть и дамы, разряженные, но мало их. Я шёл сторонкой, рыла своего не выказывая, ботинками ступая понезаметней, никого я тут не знал, не узнавал, одного Шолохова, фотографируемого при многих молниях и под треск аппаратных ручек, а он стоял и преглупо им улыбался. До того мне было тут зажато-чуже, что обрадовался я, увидав казахов, хорошо отличаемых мною после ссылки, пошёл и сел подле них, думая тут перебыть втихомолку, но и сюда подошла какая-то большая, недобрая пиковая дама и мнимо-радостно с казахами знакомилась, что она *тоже* из Казахстана, – и тогда я сообразил, что это Серебрякова.

Просидел я при казахах, глаз не поднимая, очень опасаясь всяких вопросов и разговоров, а когда позвали в обеденный зал, то пошёл опять при казахах и при них же сел, места были неназванные. Весь зал, обставленный белыми колоннами с золочёными основаниями, занимал широкий стол буквой «П» – и тут же мы все опять поднялись, душевно-радостными аплодисментами приветствуя вход за короткую сторону стола десятка руководителей партии и правительства. Длинный Сулов там был среди них, тучный Брежнев, устало-досадливый Косыгин, непроницаемый Микоян, – но посередине маленький лысый Хрущёв мягким голосом пригласил: «Когда человек поест – он становится добрей», и предложил пока пообедать. С большой готовностью усаживались – а съёмочные аппараты все исчезли. А на столе-то было уже наставлено – я такого в живой жизни не видывал: перед каждым по 5 фужеров, три ножа – нормальный, малый и кривой, зачем ещё этот кривой? икра, осетрина, мясо, курятина, салаты, вина, боржомы, – да одного этого холодного должно было на всех хватить досыта – но нисколько не хватило. Растерялся я в этом изобилии и только думал справиться примером соседей, но не казахов же. А с другого боку и противу меня сидели русские – да отменные ряжки, крупнолицые, крупнотельные мужчины в живой весёлой беседе друг с другом, очень запросто о Поликарпове, и тут я начал смекать, что это всё – важные направители: истинный руководитель всего Союза писателей Георгий Марков, а рядом со мной – тучный уверенный Вадим Кожевников, а невдали наискосок – невзрачный Шолохов, среди двух невероятно крупных морд. (Софронов, кажется.) А ещё между ними – небольшой пронырливый Чаковский, кожей носа то и дело подбрасывающий свои очки, и первый с бокалом, кланяясь наискосок: «Ваше здоровье, Михаил Александрович!» – и все вдогон, чтоб не отстать: «Ваше здоровье, Михаил Александрович!» (Я – не шевелюсь, я – из другой республики.)

Это – всё грозные были имена, звучные в советской литературе, и я совсем незаконно себя чувствовал среди них. В их литературу я никогда не стремился, всему этому миру официального советского искусства я давно и коренно был враждебен, отвергал их всех вместе нацело. Но вот втягивало меня – и как же мне теперь среди них жить и дышать?

Тем временем, пользуясь, что смотрят на меня не внимательней, чем на любого казаха, я, тайком от соседа Кожевникова, на коленях записывал в блокнотик: суп с осетриной, лимоном и маслинами; осетрина с картофелем; битки с картофельной стружкой; пирожки; фруктовое блюдо; мороженое; кофе. Всё подавали молодые безшумные дрессированные официанты во фраках, в изогнутой позе, одна рука с блюдом, другая за спиной. И это – все десятилетия, что мы вырабатывали пайку, а в Саратове и сегодня душатся за макаронами, – а они вот так едят! И церемониал обслуживания не сегодня же возник, да и деятели искусств к нему, кажется, весьма привычны.

Шёл обед часа полтора, потом гуляли в перерыве – и втекали в отдельный зал смотреть картины художников, осуждаемых партией, – так предварялась тема совещания. Тут я набрёл на Твардовского, и он меня взял под руку и водил, выбирая, с кем знакомить, а с кем нет. В этот и в следующий перерыв он так знакомил меня – с композитором Свиридовым, которого я всё же отличал, да и сам он оказался симпатичен; с прославленным тогда кинорежиссёром Чухраем, с Берггольц, Пановой, Кетлинской, Борщаговским, Мальцевым (Пупко). Знакомился я, знакомился, все они высказывали радостное сочувствие, а я учился с ними разговаривать, но за *своих* никого тут признать не мог. Не предстояло мне выбирать, с кем я, ясно – что ни с кем, кроме вожатого моего: а все они – тут же годами были, когда за одним столом с правительством, когда за соседними, – однако за макаронами не душился никто. И какие они ни либералы, какая ни оппозиция, – но все на государственных заказах и работают на государство, и по сравнению с тем, что волок я позади своих плеч, – все они друг другу равнялись.

Так мы с Твардовским гуляли-гуляли (за это время ещё обнаружив забавный приём: в мужскую уборную того этажа, где банкет, пускали только членов Политбюро, специально дежурил чин в проходе, – а всех остальных направляли этажом ниже). Уже и звонок дали, и все

ушли в зал, а Твардовский чего-то поджидал, или это уговорено у него было, я и не понял, – в пустом и уже полутёмном вестибюле вдруг оказались только мы двое да кинооператоры с диковинными, подсунутыми нам микрофонами – и тут Твардовский меня повернул – а шёл через вестибюль один Хрущёв. Твардовский меня представил. Хрущёв был точно как сошедший с фотографий, а ещё крепкий и шарокастый мужик. И руку протянул совсем не вельможно, и с простой улыбкой сказал что-то одобрительное, – вполне он был такой простой, как рассказывал нам в лубянской камере его шофёр Виктор Белов. И я испытал к нему толчок благодарного чувства, так и сказал, как чувствовал, руку пожимая:

– Спасибо вам, Никита Сергеич, не за меня, а от миллионов пострадавших.

Мне даже показалось, что в глазах у него появилась влага. Он – понимал, что сделал вообще, и приятно было ему от меня услышать.

Пока ещё руки наши были соединены, пока ещё длилось это мгновение немешаемое рядом – я мог сказать ему что угодно, я мог какой-то важный и необратимый шаг сделать – а не был подготовлен, не сообразила голова: чувствую, что упускаю, а не сообразил.

Не сообразил, только потом понял, через месяцы: надо было мне просить аудиенции, хотя и не составлена была беседа в голове. Надо было понять, что весь наш успех, едва достигнутый, уже шатается, что не осталось и мне того полугода открытости, на которые я рассчитываю, что вообще мы в последнем крайнем залёте в свободу, а теперь всё попятится, – и чтоб это пытаться остановить, предупредить – мне надо было смело говорить с Хрущёвым! Он был человек – индивидуальных решений, вполне возможно – я подвиг бы его на закрепление начатого? Но я оказался не вровень с моментом – с первым прямым касанием к ходу русской истории. Слишком резок и быстр для меня оказался взлёт.

Да, наверно, и долго просидев, не мог бы я составить правильного плана разговора с Хрущёвым.

И так я руку опустил. И говорить больше нечего было (киношники между тем крутили – и в кинохронике наше пожатие было). Оставалось повернуться и идти в зал. И я – повернулся. И там – до закрытых дверей, где никого не было, точно, – теперь одиноко стоял малоросток Шолохов и глупо улыбался. Как Твардовский ловил Хрущёва – так и Шолохову, значит, этот момент высмотрели, и он выперся сюда, назад, тоже присутствовать, как царь литературы. Но Хрущёв миновал его стороной, а мне предстояло идти прямо на Шолохова, никак иначе. Я – шагнул, и так состоялось рукожатие. Царь не царь, но был он фигурой чересчур влиятельной, и ссориться на первых шагах было ни к чему. Но и – тоскливо мне стало, и сказать совершенно нечего, даже любезного.

– Земляки? – улыбался он под малыми усиками, растерянный, и указывая путь сближения.

– Донцы! – подтвердил я холодно и несколько угрожающе.

Пошли в зал. Начинали.

Теперь на столах остался один боржом, и уже кинооператоры снимали беззапретно. Увёл меня Твардовский за дальний-дальний конец, где стягивалась как бы оппозиция и где – вот знамение времени! – сидел и Сурков. Да что там, не только с нами сидел, но *мне* пошутил: «Знаете, как этот дворец называется? Колхоз “Заветы Ильича”». Вот как шатались тогда столпы, и никто не понимал, куда же кружат небесные светила!

На краю стола вождей поднялся низкий узкий Ильичёв, заведующий отделом пропаганды ЦК, и стал делать доклад, изгибаясь узкой шеей на подобие змеиное. Может быть, и несильный, голос его громко повторялся стенными динамиками, да и смысл слов был партийно-сильный. Что полезно время от времени *сверять свои часы*. Что абстракционисты действуют чрезвычайно активно и заставляют соцреалистов уйти в оборону. (Наличие войны разумелось само собою.) Формалисты навязывают партии новый диктат. И поступают в ЦК письма: неужели решения партии (несчётно было их за годы, но все в один бок) устарели? Нет! – вздраги-

вал Ильичёв всей шеей, – мы не допустим кощунственно распространять про Ленина, будто он был сторонник лозунга «пусть расцветают сто цветов»! – То втягивал голову в плечи, то губы закусывал от негодования: – И кинематографисты копаются на заднем дворе, слепнут к генеральной магистрали. И в литературе молодые бравуруют фыркающим скептицизмом. А иностранцы выискивают проходимцев вроде Есенина-Вольпина. (Хрущёв: Порнография, а не искусство.) А часть поэтов пропагандирует общечеловеческое начало, как Новелла Матвеева, – мол, всем пою, всем даю. Наступила пора безнаказанного своеволия анархических элементов в искусстве! Требуют выставок без жюри, книг без редакторов. Требуют мирного сосуществования в области идеологии! На собраниях бывают такие условия, что отстаивать партийную позицию становится неудобно. (Сталинецв хрип!)

Так представил партию совсем маленькой, слабой, утеснённой, – а интеллигенцию грозно наступающей. Но, сам такой маленький, выстаивал против неё, крутя головой. Оказывается, откуда-то поползли фальшивые слухи, что будет новый поход против творческой интеллигенции, – и пришло письмо самому Никите Сергеевичу за подписью таких видных деятелей, как Фаворский, Конёнков, Завадский, Эрнбург. (И... Сурков! – вот куда он подался!) Сделайте всё, чтобы не повторился произвол! Без возможности разных направлений искусство, мол, обречено на гибель. Потом – отозвали своё письмо назад. (Хрущёв: И лучше б совсем не присылали!)

Жидкие аплодисменты зала.

А Ильичёв нагнетает и пошёл в наступление, распухая от малого своего объёма: диверсия буржуазии в области идеологии, мы не имеем права недооценивать. Не молодые художники «ищут путей» – а *их* нашли и потащили за собою. У нас – полная свобода для борьбы за коммунизм, но у нас нет и не может быть свободы для борьбы против коммунизма! Великое счастье, что партия определяет всё направление искусства.

Становилось всё жутковатее в зале. Настолько смешались в одной церемонии именины с похоронами, что мелькнуло у меня: пожалуй, и со мной отбой дают, сейчас навалятся, уж никак мой Денисович не за коммунизм. Да когда стеснялись *наши* дать обратный ход? Я единственный тут вызывал двоеение, что сегодня – ещё и именины тоже.

А там близко перед ними стояла, нам не видно, медная скульптура Эрнста Неизвестного, и Хрущёв зарычал на неё внеочередь: «Вот произвол! Стали бы они большинством – в бараний бы рог нас свернули!»

А – мастера же поворачивать, когда руль всегда им послушен. С новым изгибом шеи, как от очень неудобного воротника, Ильичёв повёл совсем новую руладу: в отличие от произведений упадочнических партия должна отличать произведения хотя и острокритические, однако жизнеутверждающие. В последнее время появились очень правдивые, смелые произведения – такие, как «Один день Ивана Денисовича». Показаны человеческие люди в нечеловеческих условиях.

Хрущёв брал инстинктом, чем и отличался ото всех коммунистических вождей: что рассказ мой против коммунизма – он не заметил, потому что не голова тут сработала и не брошенная догма. А что честно по-крестьянски – заметил. Теперь, настороженно перебивая Ильичёва, забубнил:

– Это не значит, что вся литература должна быть о лагере. Что это будет за литература! Но как Иван Денисович раствор сохранял – это меня тронуло. Да вот меня Твардовский познакомил сегодня. Посмотреть бы на него.

А уже просмотрен я был чутким залом, как прошёл с Твардовским, – и теперь стали сюда оборачиваться и аплодировать – самые угодливые раньше Хрущёва, а уж после Хрущёва совсем густо.

Я встал – ни на тень не обманутой этими аплодисментами. Встал – безо всякой и минутной надежды с этим обществом жить. Перед аплодирующим залом встал, как перед врагами,

сурово. Всей глубины *нашей* правды они не представляли – и нечего даже пытаться искать их сочувствие.

Поклонился холодно в одну сторону, в другую, и тут же сел, обрывая аплодисменты, предупреждая, что я – не ихний.

Ещё продолжался доклад Ильичёва, но всё более переходя в непрерывный комментарий Хрущёва. Отвечал он всё авторам того, взятого назад, письма – что нет, нет, возврата к культу личности не будет. «В тюрьму сажать никого не будем, – уверенно объявил Хрущёв. – Получайте паспорта, и скатертью дорога, проявляйте свои таланты *там*».

(Это была тогда ещё настолько неправдоподобная нота, что никто всерьёз не принял.)

Как всякий новичок никогда не охватывает всей обстановки местности, всеми прогляжен, но ничего не видит, я не смекнул, что для меня обстановка от первого перерыва до второго решительно изменилась. В первом перерыве ещё не известен был доклад Ильичёва, ещё никак ко мне не проявился Хрущёв, – и многие думать могли: а вдруг опять поворот? а вдруг Партия уже насчёт «Ивана Денисовича» передумала? И потому в первом перерыве к нам с Твардовским мало кто подходил, то ещё были отчаянные, а вот когда повалили – в следующем перерыве (теперь-то и Чухрай подошёл), когда я был уже заведомо утверждён партией и можно было ожидать моего дальнейшего взлёта. Тут-то – мимо нашего дальнего конца стола оказался крюк самым коротким – с лицом незапоминаемым, никаким, подошёл Сатюков. Так он дружески к нам вник, что дальше мы выходили уже втроём, и Сатюков сам спросил нетерпеливо: не предстоит ли моя новая публикация и не дам ли я отрывка в «Правду»? Я не совсем понял: зачем же это, портить новомирский рассказ. Я не сообразил, что, значит, «Правда» за честь берёт – перехватить меня у «Известий» и выколыхать перед Хрущёвым. И не сообразил, что для самого рассказа и для «Нового мира» это открывает дорогу без критики. Но Твардовский мгновенно всё понимал – и обещал непременно дать.

А ещё минут пять спустя к нам подошёл какой-то высокий, худощавый, с весьма неглупым удлинённым лицом и энергично радостно тряс мне руку и говорил что-то о своём крайнем удовольствии от «Ивана Денисовича», так тряс, будто теперь ближе и приятеля у меня не будет. Все другие себя называли, а этот не назвал. Я: «Простите, с кем же...?» Твардовский укоризненно вполголоса: «Михаил Андре-е-ич!» Я: «Простите, какой Михаил Андреич?» Твардовский сильно забеспокоился: «Да Су-ус-лов!» Ведь мы должны на сетчатке и на сердце постоянно носить две дюжины их портретов! – но меня зрительная память частенько подводит, вот я и не узнал. И даже как будто не обиделся Суслов, что я его не узнал, ещё продолжал рукопожатие. Так разворачивалась моя орбита! Те крупные бандиты из Союза писателей тоже, конечно, теперь жалели, что упустили моё соседство в начале банкета, но при Твардовском подойти не могли никак, это был другой лагерь.

Хотя мнение партии было ясно, начался третий сеанс – прения. Чтобы тот же гвоздь теперь подтверждали и забивали сами деятели искусства. И они спешили выговориться, иногда выразительнее самого ЦК. Грозный Грибачёв так и лепил: хотят подменить идеологическое общечеловеческим, вообще о добре, в духе христианской морали, – так чем мы тогда будем отличаться от наших врагов? Призывал, «чтоб молодое поколение не мешало старому поколению мужественно стирать пятна прошлого». И уже знакомая мне Галина Серебрякова: «Я вся молодею при Никите Сергеиче» (она хотела этим передать политическую весну, но Твардовский очень смеялся), заявляла уверенно и даже властно: «И в Органах и в охране есть честные люди, которые спасали нас (то есть старых большевиков) и верили в нас». Её и выдвинули против моей опасности, и она поучала теперь: «Лагерная тема может быть столь же полезна, сколь и вредна. Закономерно не то, что *такие вещи* были, но что они миновали, ЦК очистил нас от них». Ещё выступал здоровый упитанный художник Серов (иронический однофамилец великого предшественника) и откровенно объявлял, что в искусстве бездарность – не опасность,

лишь несчастье, а опасность – абстракционизм. Чистый ленинский путь – это не мармелад, и хороши только те грани жизни, в которых отражается солнце построения коммунизма.

Я пишу эти заметки через 16 лет – и всё это так уже ушло в прошлое, измельчилось, овторостепенилось по сравнению с новыми кусающими ударами и болями, которых тогда нельзя было и предвидеть, – что меня самого охватывает скучающее чувство, и останавливается перо. Но и опоминаюсь: да ведь *это* – царствовало полвека и ещё сегодня в Союзе забивает мозги, – так свидетельство не может быть лишним.

Собственно, три нити вились в дискуссии этого дня. Первая – абстракционизм в живописи, уже безусловно осуждённый, безнадежный и не подлежащий отстаиванию. Но полуниткою отрёпывалось от него – «общечеловеческое», которое тоже осуждала партия и здравые деятели искусств, но которое – на это смелость требовалась! – можно было попытаться и чуть отстаивать. Общечеловеческое как часть абстрактного искусства! – вот была вся наша уродливая щель свободы! Но седой джентльмен с благородным голосом, Щипачёв (в другие времена – обрядовёрный марксист), тут осмелился сказать: «Нам принадлежит будущее – и темы должны быть очень широки. Именно нашей литературе принадлежат общечеловеческие темы, а буржуазная – потеряла на них свои права». С сильной было песочной подмесью, но даже это в тот день в том зале звучало смелостью, – и я поторопился в этом месте первый сдвинуть аплодисменты зала, – и были хорошие.

Вторая нить вилась – лагерная тема. А третья – тёмно-накалённая – антисемитизм. Московская творческая интеллигенция остро опасалась, чтобы новое гонение не стало противояврейским, и этот сгущённый страх вошёл и в этот зал во многих грудях, и хорошо известен был ЦК. Ильичёв хоть и час говорил, а тему эту обминул, но Никита ещё в репликах высказал: неправильно «Бабий Яр» написан, будто Гитлер одних евреев истреблял, а славян он истребил ещё больше. Есть ли у нас сейчас антисемитизм в стране? Нет! А – был ли? В первые годы советской власти процентный перевес евреев был хотя и очень понятен, но антисемитизм – вызывал. А Шостакович, написав на стихотворение Евтушенко симфонию, совершил работу вредную. (Но – мягко Шостаковичу: «Я вас уважаю. Я думаю, что вы ошибаетесь».) И даже Грибачёву (хотя уж как поддержанному аппаратом) пришлось оправдываться, что он не антисемит. И когда затем выступали Евтушенко и Эренбург, то самим фактом выступления и собою – напоминали, что позиций так не отдадут.

Евтушенко находился (он ещё этого не знал) на последнем докате своей гремящей роли и славы, дальше предстоял спад. Если уверенность Грибачёва крепла на поддержке власти, то Евтушенко держался именно самоуверенно, повышено значительно, театрально (и Твардовский сказал мне по соседству: «Ведь не ты же выступаешь, а почему-то неловко»). Не обошёлся он и без театрализованных басен – как он сейчас разговаривал с таксёром, по пути сюда (любимый сюжет городских щелкопёров), или как приходил в их семью освободившийся зэк и рассказывал о преданности ленинизму его деда, умершего в лагере, – и голос Евтушенко содрагивал сочувствием. Осмелился судить о Сталине – что он, «может быть, даже иногда верил коммунизму» (Хрущёв горячо поправил: «Сталин был предан коммунизму всей душой! но вот – как он его строил...»). Осмелился назвать догматизм также формой ревизионизма – и отсюда сделал самый смелый выпад: «А сколько на выставке было бездарно-догматических картин? Никита Сергеевич, вот ваш там портрет – плохой!» (Это тогда – очень дерзко звучало, хотя уверен был Евтушенко, что на личное Хрущёв не обидится.)

А Эренбург, напротив, вышел – дряхлым губошлёпом, уже близким к своему концу. Сколько за свою жизнь он придворничал, лгал, изворачивался, ходил по лезвию. И сейчас, который раз, соображая всё новеющую обстановку, он ступал где посмелей, где порабистей. Да, он – боялся Сталина. Сколько раз он немо спрашивал себя: «за что?» тот губит людей. И – неужели никто не скажет Сталину правды? И вот теперь задача (?): объяснить молодым, почему народ (и Эренбург) продолжал работать и при Сталине? Но, но! – Сталин не был анти-

семитом! (Как урок нынешним, наиболее удобная форма высказать позицию.) Сталин будто бы вызывал редакторов и ругал их: что за безобразие – раскрытие еврейских псевдонимов в газетах? (Какие смельчаки редакторы!) В общем, *деды* (ленинские соратники) – были хороши, *отцы* подгуляли. Признался: «Я сам не понимал, что писал в 20-е годы». (Но скольких же отравил!) А сейчас если что его беспокоит – то «неполное согласие с Никитой Сергеевичем». – Вот с таким ничтожным итогом кончал этот наш учитель коммунистических десятилетий. Мне противно было его слушать и вспоминать, что в 1941 его статьи меня сильно волновали.

А между тем – за обедом, докладом, променадом и прениями прошло уже более шести часов, за белоснежными занавесами уже стемнело, рабочий день страны перекатился в отдых трудящихся, – а мы всё сидели, и в какой-то особо удручённо-ослиной позе, не разделяя этого сборища и не касаясь его, сидел Косыгин. Глава правительства – сам тут был раб безысходный, комический, хотя ждали его дела поважнее. По необъятному размаху задуманного партией – ещё было говорить и говорить, записалось 40 человек, а выступило только 8, сегодня – уже явно не уместиться. Перенести? Но на завтра нельзя было перенести: предполагался несколькодневный визит Тито. Значит – на неопределённое время. А если так – то неизбежно было предварительное заключительное слово Никиты Сергеевича. Оно и наступило.

Ну, конечно, о печати как дальнобойном оружии партии. Внутри нашей страны – нет сосуществования систем, здесь – вопрос чистоты или грязи. (Ещё раз видно, какой манёвр для них – сосуществование.) Борьба не терпит компромиссов. (Оговариваясь: хотя с Кеннеди мы пошли на разумный компромисс. – Ведь Хрущёв только-только вынырнул из страшных дней, первый раз проведя мир вплотную к ядерной войне, и вот из первых его мирных занятий – с нами.) Идёт борьба за умы людей. Ваши умы – для нас очень ценны, вы сами – маршалы. То, что мы вас вызвали, – уже и доказывает (?), что культа личности нет. Да, партия допускала ошибки. Возможны ошибки и в будущем. (Обрадовал. Но – смело это, обычно так не говорилось.) Я тоже буду в ваших глазах сталинист: я – поддерживал эти устои. Чем меньше ответственности за будущее – тем больше жадности к тюремной теме. (Как раз наоборот!) Считать, что всё написанное – Богом данное, и тащи в типографию, – так нельзя. Такое общество неуправляемо, оно – не выживет. «Живи и жить давай другим» – я этого не признаю. Мы живём на средства, созданные народом, – и надо народу платить. (И, рассердясь, тыкая на выставленную скульптуру Неизвестного:) «Шелепин! Проверь, откуда они медь берут? Здесь – 8 килограмм народной меди!» (То потише:) Я призываю и к миру и к борьбе! (То непримиримо:) Я – за войну, не за мир! В войне отстаивать то, что облагораживает душу человека. Судья – история, но мы – отвечаем за государство и будем отстаивать то, что полезно. Наверно, Ной был неглупый человек, раз не брал с собой нечистого.

А дальше Хрущёв всё больше терял тон государственного человека и сбивался на выражение личных вкусов, как и считал себя вправе, будучи царём. Весь день обругивался Есенин-Вольпин (в том числе и Евтушенкой), теперь Хрущёв обругал и Есенина-старшего: «Кто кончает жизнь самоубийством, тот у меня уважением не пользуется. Видимо, и Есенин (как сын его) был заражён сумасшествием. Я спросил у Неизвестного: вы – настоящие мужчины или педерасты? От музыки Шостаковича – колики, живот болит. Не хочу обидеть негров – но весь американский джаз – от негров. А я, когда слушаю Глинку, – у меня текут слёзы радости. Я – старорежимен. Мне нравится Ойстрах, коллектив скрипачей. Другой раз и не знаю, что они играют, – а нравится... Я воспитывался в русской деревне, на русской музыке. Постойм за старину!»

Постойм за старину! – так это необычно для большевиков прозвучало: нет, было в Хрущёве помимо коммунизма и исконное.

Но и на этом Хрущёв не кончил, уж разнесло его. Стал вспоминать эпизоды из сталинского времени, – «вот, Анастас помнит» (Микоян хорошим истуканом просидел всё заседание). Как было написано постановление о «Богдане Хмельницком», – сидели в ложе, Воро-

шилов выступил, Сталин продиктовал... Потом уже совсем что-то несуразное: будто Сталин принимал Хрущёва за польского шпиона и велел его арестовать...

Все охотно слушали. Часам к 9 вечера это кончилось.

Всё отошло – и уже поверить нельзя. А какая-то особенная возможность была у меня в те недели, я не улучил её. Я жил – у себя на родине, и несло меня сразу признание снизу и признание сверху. «Новые миры» с «Денисовичем» были давно распроданы – а в редакцию шли паломники, студенты приносили пачки студенческих билетов в залог за экземпляр на сутки. Ворохи писем со всей страны шли на редакцию и в Рязань. Уже набиралась 700-тысячная «Роман-газета», 300-тысячное отдельное издание (вдруг распоряжение: снизить до 100 тысяч! мне сказали, но я не придавал значения, не стал оспаривать). Через несколько дней после совещания – «Правда» напечатала отрывок из «Кречетовки». Это уже давало гарантию, что не задержит цензура набираемые в «Новом мире» «Кречетовку» и «Матрёну». Я не ощущал своего разлёта, но при всей зэчьей предусмотрительности не представлял и как короток он – вот уже к февралю оборвётся.

Из двух борющихся сторон я настолько безповоротно выбрал интеллигенцию, что вместе с ними считал позорным даже повидаться с так называемой «чёрной сотней» – руководством Союза писателей РСФСР. Под Новый год они приняли меня в Союз без обычной процедуры, без поручительств, даже сперва без заявления (я для издёвки не дал его в спешке рязанскому секретарю, не хотел давать им росписи, но потом пришлось дослать), ещё и прислали мне коллективную поздравительную телеграмму (Соболев, Софронов, Кожевников и другие), а приехал я 31 декабря в Москву – звали меня к себе на Софийскую набережную, собрались там все (изумляясь моему раскату, они могли предвидеть ещё любой вперёд, подозревали мои особые тесные связи с Хрущёвым), звали меня, чтобы в полчаса выписать мне московскую квартиру (это – в их руках), – я гордо отказался ехать. Чтобы только не повидаться с «чёрной сотней», чтоб только этого пятна на себя не навлечь, я гордо отказывался от московской квартиры (совсем уже чушь, впрочем отчасти – боялся я и московской сутолоки, расхвата, что здесь работать не дадут, не усвоил, что все работают в Подмосковьи), – обрёл себя и жену на 10-летнее тяжкое существование в голодной Рязани, потом и притеснённый там, в капкане, и вечные поездки с тяжёлыми продуктами, – о жене-то я меньше всего подумал, и потом она, в разрыве со мною, только через выступление против меня смогла переехать в Москву. (А в дальнейшем просвете жизни хорошо: не стал я москвичом, а разделил судьбу униженной провинции.)

Ещё и в январе на перевыборы рязанского секретаря приезжал от них М. Алексеев и очень доброжелательные повторял приглашения, да прежде всего сразу после перевыборов приглашался я на процедуру пьянки, где все речи уже произносятся не формально-собранчески, а по существу, в открытую, – я и тут не пошёл. Я всё делал не так, как все, не так, как ожидается и как разумно.

Тем временем, откладывали-откладывали, наконец состоялось продолжение кремлёвских встреч – 7 и 8 марта 1963.

Собрали в белом, совершенно круглом Екатерининском зале Кремля под куполом, который и с Красной площади виден всем хорошо. Круглый, но колоннами выделялась зрительная часть с голубою мягкостью кресел – и председательское, как бы судейское возвышение из жёлтого дерева, а сзади в нише, под лепными нимфами – портрет Ленина. Голубой цвет умеренно повторялся в обрамлении зала, там и сям. Дневного света через купол не хватало, был электрический.

Теперь всё правительство, или политбюро, как его считать, – сидело не где-то вдали на нашем уровне, а высоко взнесенное над нами, ясно видимое – и пришедшее нас судить. Теперь среди публики было много незнакомых лиц, не только мне, но и для деятелей искусств: этих поменело, а позвали человек сто-полтораста партийных рож. И Никита был не тот хлебосоль-

ный хозяин – сперва покушать из семи блюд и быть добрей, но встал – и свирепо, а у него свирепость тоже получалась выразительно, заявил:

– Всем холуям западных хозяев – выйти вон!

Даже охолонули все – кому это? что? не мне ли? Даже покосились – не выходит ли уже кто? (А он имел в виду: кто-то что-то шептал западным корреспондентам о прошлой встрече – так чтоб не шептали об этой. Давно ли, кажется, был 1956-й? А вот уже и шептать нельзя.)

Ещё догремливал Никита:

– Применим закон об охране государственных тайн! – (То есть: до 20 лет лагеря.)

Напугал – и сел.

И над судейским помостом, над трибуной, высунулся снова шуплый Ильичёв. Змеино-го даже меньше было в нём, чем прошлый раз, потому что повернулись события в его и их пользу.

Оказывается, «под влиянием оздоравливающих идей партии исчезло чувство незащищённости» (почему-то верится этому их чувству; вот так: стоят десятилетиями на командных высотах – и от одной повести, от одной выставки уже не защищены), «люди в полный голос заговорили о соцреализме». На Западе уже идут рассказы о бунте детей против отцов, *якобы* запятнавших себя в годы культа. Эренбург ввёл двусмысленное понятие «оттепель» – а теперь предсказывают «заморозки».

Хрущёв (грозно): «А для врагов партии – морозы». (Его, видать, сильно накрутили с декабря, узнать его нельзя. Его руку направили рубить сук, на котором сидит он сам, и он рубит с увлечением.)

Косыгин сидит, всё так же уныло ссунувшись плечью между рук, показывая, что он тут ни при чём, не участвует, такой бы глупостью он не стал заниматься. Брежнев, рядом с Хрущёвым, крупный, полноплечий, в цветущем состоянии. И Сулов, недоброжелательно-вобленный (не так сам худ, как все они толсты).

В лад с Хрущёвым и у Ильичёва появляется угрожающая жестикация: «Выступают, разоблачают, а за душой ни талантишка. Выдают себя за вождей молодёжи, а вождь молодёжи – один: КПСС». Дальше похвалил Эрнста Неизвестного, Евтушенку, которые за это время успели признать свои ошибки. А такие-то художники (кажется: Андронов, Нефёдов, Гастев, Вилковир) заняли воинственную и неправильную позицию. И о писателях: «Можно понять таких, которые долго пишут, но нельзя понять тех, кто вообще молчит». (Я сижу, всё записываю и думаю – ну, угодить с ними! Раньше-то я мог молчать и молчать, а теперь и молчать нельзя!) Затем навалился на Эренбурга (им тогда он казался – вождём оппозиции, грозной фигурой): пока его мемуары повествовали о давних событиях – наша печать молчала. А сейчас – *читатели* протестуют: Эренбург выдвинул «теорию молчания». (То есть: обо всём давно знали – но молчали.)

Как всё меняется в проекции времени! А в тот год не было острее вопроса, чем этот: *знали* или *не знали* все вожди, все партийные верхи о том, что творилось при Сталине? Вот в какое идиотское положение поставил их Хрущёв. Для спасения лица им оставалось только принять теорию незнания.

Ильичёв: «Так что ж получается по Эренбургу: знали и спасали свою шкуру? Но ЦК в постановлении о преодолении культа объяснил, почему *народ молчал*». (И тут народом загордились.) «Но вы, Илья Григорьевич, не молчали, а восхваляли. В 1951 вы сказали: “Сталин помог мне написать большинство моих книг”. В 1953: “Сталин любил людей, знал слёзы матери, знал думы и чувства миллионов”».

И что ж Эренбургу ответить, если б и пригласили? Цитаты подобраны неплохо, да наверно десятки их есть, и хуже. Уж он-то вымазан так вымазан. (И не на том бы уровне ему мемуары писать – а в раскаянии. И, при его европейской известности, не так бы гнаться в них.)

И так поворачивает Ильичёв уверенно: «Я выделяю вас, Илья Григорьевич, не для того, чтобы поставить вам в вину восхваление. Мы – все верили и восхваляли. А вы восхваляли – и оказывается, не верили». (Наказали его и за то малое, что он осмелился сказать.)

Так разбит главный лидер оппозиции. А ещё одно имя нужно у неё отнять – Мейерхольда. «И о Мейерхольде вы пишете не всё. Мейерхольд умел возразить на критику: “Вы так хотите поставить пьесу, чтоб она могла идти в любом городе Антанты?” – (Хрущёв даже подпрыгивает от смеха. И Сулов выражает смех, так: вымахивая обе длинные руки по диагонали и там всплескивая ими.) – Мейерхольд писал: “Мой театр служит и будет служить делу революции. Нам и нужны пьесы тенденциозные”. Поэтому мы его и реабилитировали».

И опять же верно: свой. В первые годы революции кто ж и был палач в искусстве, если не Мейерхольд?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.